ISSN 0131—0097





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Выходит с 1 апреля 1923 года

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

№ 45 (3303)

3 — 10 ноября

НА ОБЛОЖКЕ:

Плакат Игоря ЧУГУНКОВА. Симферополь.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА при участии О. И. КОЗАК.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на 1991 год — 46 руб. 80 коп., на полгода — 23 руб. 40 коп., на квартал — 11 руб. 70 коп.

Цена одного номера в розницу с 1991 года — 1 рубль.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 15.10.90. Подписано к печати 30.10.90. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 2883. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 251-90-55.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Издательство ЦК КПСС «Правда». Типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». Москва, А-137, улица «Правды», 24.

МЕТРОНОМ

ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЕРИТЬ В БОГА, НЕ РИСКУЯ ПОПАСТЬ В ЛАГЕРЬ

Действительно, принятый недавно Верховным Советом СССР Закон о свободе совести и религиозных организациях наконец предоставляет гражданам нашей страны право не только сделать свободный выбор между верой и неверием, но и «распространять убеждения, связанные с отношением к религии». Правда, эта норма противоречит 52-й статье Конституции СССР (и жаль, что депутаты не позаботились привести ее в соответствие), однако и сам Закон был принят Верховным Советом страны как бы вдогонку за уже совершившимися переменами. От сталинской нормы, загнавшей верующих и священнослужителей в ограду храма и под страхом жестокого преследования запрещавшей им действительно исповедовать свои религиозные убеждения, мы шагнули к достаточно широкому участию представителей различных конфессий в общественной жизни. Вступивший в действие Закон во многом лишь подтверждает и закрепляет это участие, предоставляя, кроме того, религиозным организациям право обращаться в суд в связи с неправомерными, с их точки зрения, действиями власти, снимая с общин отвратительную повинность получать разрешение на жизнь из рук уполномоченного Совета по делам религий и заодно упраздняя (сопутствующим Закону постановлением Верховного Совета СССР) сам институт уполномоченных.

Это была дивная работка для вышедших в тираж партаппаратчиков или удалившихся на заслуженный отдых, но еще крепких и деятельных полковников КГБ. Надсмотрщики, таким образом, списаны за ненадобностью, «государственный орган СССР по делам религий» уцелел. Правда, Закон определяет ему отныне быть всего лишь «информационным, консультативным и экспертным центром», но было бы куда естественней упразднить его вовсе (как, например, уже сделали в России) и вместо получекистской конторы т. Христораднова и К° создать скромную комиссию или Верховного Совета, или Министерства юстиции.

Жаль, кроме того, что в Законе нет четко сформулированной нормы, отделяющей государство от атеизма; жаль, что в окончательном варианте не сохранена статья проекта, разрешающая факультативное, по желанию родителей, преподавание основ тех или иных вероучений в школах; жаль, что почти неизменной сохранена нынешняя процедура передачи верующим молитвенных зданий.

И наконец. «Установление,— гласит Закон,— каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим не допускается». Хотелось бы в связи с этим, чтобы Председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов, прошедший с крестным ходом от Успенского собора в Кремле до храма Большого Вознесения у Никитских ворот, в следующий раз почтил своим присутствием, к примеру, еврейскую Пасху; а Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин, выстоявший службу в Исаакиевском соборе, не обошел своим вниманием и, скажем, баптистскую церковь в Малом Вузовском, в Москве.

Тогда ни у кого не будет соблазна тешить себя надеждой на государственную религию.

Александр НЕЖНЫЙ

«ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ»

Лидия Корнеевна Чуковская стала первым лауреатом премии «За гражданское мужество в литературе», носящей имя А. Д. Сахарова. Премия учреждена ассоциацией «Апрель», теперь она будет вручаться ежегодно общим собранием членов ассоциации.

Премия имени Сахарова составляет 2500 рублей. Эти деньги Лидия Чуковская передала Дмитрию Юрасову — тому самому, который несколько лет назад начал собирать картотеку и архив безвинно репрессированных.

Поздравляем вас, Лидия Корнеевна!





Рисунок Р. САМОЙЛОВА (из газеты «Советская Эстония»).

ДЕКОРАЦИИ ДЕМОКРАТИИ

Наш корреспондент обратился к академику Олегу БОГОМОЛОВУ с просьбой ответить на несколько вопросов.

— Олег Тимофеевич, возможен ли для России после принятия ВС СССР «Основных направлений» один из трех вариантов, предложенных Борисом Ельциным?

— Мы сегодня находимся в весьма трудном положении: ухудшается снабжение населения в городах, маячит угроза голода, сокращается национальный доход. Плачевное положение с нашими внешними расчетами. Люди не в состоянии покупать самое необходимое, в том числе и лекарства. Неясно, как выбираться из нарастающего кризиса. Я думаю, что чувство тревоги во многом предопределило ту поспешность, с которой были приняты парламентом «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике», с которыми выступил Президент.

Бездействие сегодня вообще исключается. Нужно хоть какое-то действие. Все устали от обсуждений и от столкновений разных концепций и подходов. Другая причина, по которой эта программа оказалась приемлемой даже для радикально настроенных депутатов, состоит в том, что она сформулирована очень общо. В ней много «каучуковых» формулировок. Это скорее заявление о намерениях, чем конкретный план мероприятий. Тем самым оставляется большой простор для маневра и со стороны Президента, и со стороны республик. Мне показалось, что слишком резкий тон критики (конечно, оправданный во многом беспокойством российских властей из-за нарушений договоренности, которая была между центром и Россией) способствовал ускоренному прохождению обсуждений в ВС СССР и принятию «Основных направлений» подавляющим большинством голосов без серьезной критики.

Я вижу выход из создавшегося положения (и об этом заявлял и от имени Межрегиональной группы на заседании ВС СССР, и от своего собственного имени) в сотрудничестве между центром и Россией, а если говорить более конкретно, между двумя лидерами — Горбачевым и Ельциным.

Республики заявили о своем суверенитете. Желание обрести его огромно, но вместе с тем реально и то, что у центра в руках находится еще основная власть и над армией, и над органами правопорядка, и органами госбезопасности, над валютными ресурсами страны, над промышленностью. Министерства продолжают существовать, и им подчинена основная часть промышленности. Вопросы разделения компетенции сегодня силой решить нельзя. Конфронтационные приемы чреваты огромными издержками.

Но договоренности нет, и это беспокоит.

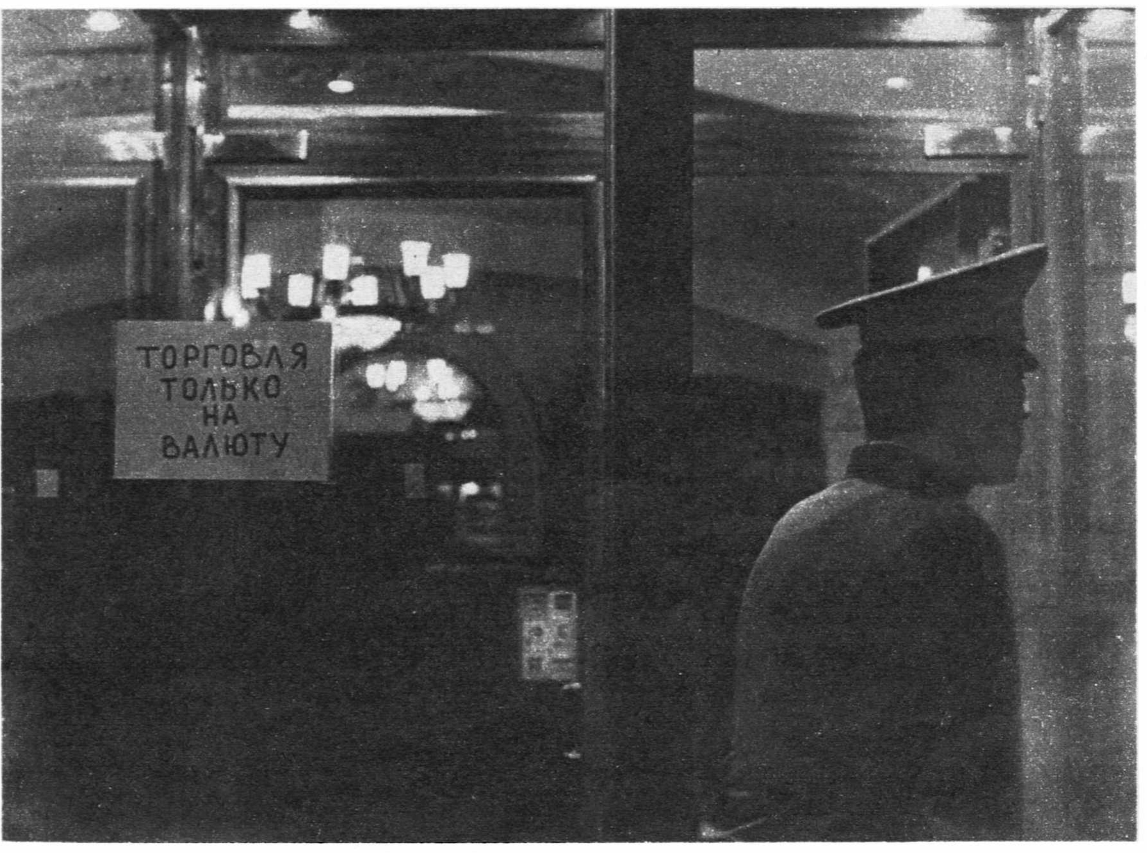
Конечно, нереалистично говорить о том, что Россия может выйти из состава нашего государства. Ну, как выйти, когда она составляет подавляющую часть этого государства? Да и в экономическом отношении это сложно представить. Россия должна была бы как раз выступать консолидирующим центром, иначе мы сделаем шаг назад и раздробим то, что не выгодно дробить. Мы превратимся в некое подобие СЭВ, где каждое государство всем владеет, имеет свою валюту, имеет какие-то договорные связи, но в любой момент оказывается под угрозой, если что-то случается. Нужно, чтобы Россия выступала интегрирующим ядром и могла бы обеспечить всем равноправное сотрудничество. Необходимо создать предпосылки для того, чтобы была единая валюта и общий рынок, а не строить таможенные барьеры. Но это осуществимо лишь в том случае, если будет добровольное распределение компетенции между центром и республиками.

— Это возможно?

— Я считаю, это единственный путь к спасению. Если мы не хотим быть самоубийцами, то должны найти путь к согласию. Либо конфронтация с непредсказуемыми последствиями.

— Собственно, это и есть один из вариантов, о которых говорил Б. Ельцин...

— Он говорил о наличии коалиции, но с некоторым политическим нажимом. Выступал как бы с позиции силы. А мне кажется, что сегодня не надо нам друг с другом разговаривать в таком тоне. Ни центру с Россией, ни России с центром. Надо достигать



Экономический прогноз?

конкретных договоренностей. Пример для нас — новое политическое мышление в международных делах.

— Программа Президента дает возможность для таких договоренностей?

— Она их существенно сужает, так как представляет собой только формальный компромисс между двумя программами. По существу, от «500 дней» взяты лишь некоторые идеи, последовательность изложения и даже некоторые формулировки, но существо вложено более близкое к программе правительства, которая де-факто начала осуществляться еще до всех решений. Обе эти программы, как заявляли их авторы, несовместимы. Одна из них — правительственная — сохраняет, по существу, унитарное государство с почти полным контролем из центра над всеми важнейшими экономическими процессами. Другая предусматривала значительную автономию республик и добровольную договоренность о делегировании центру некоторых прав и компетенций. Этот пункт не решен, отложен, а он ключевой. Главный же вопрос заключается в следующем: будет ли у нас единая валюта, и валюта реальная? То есть такая валюта, которая является действительным покупательным средством, обеспечена товарами и услугами на рынке, которая дает стимул к труду, или ее не будет? Остается большой соблазн для республик обзавестись собственными деньгами. И тогда мы сделаем шаг назад, к конфедерации, к какому-то сообществу государств типа европейского. Насладившись свободой, республики осознают, что воля — это еще не благосостояние, что частью свободы, может быть, стоит пожертвовать во имя того, чтобы совместно наладить эффективное хозяйство.

— Олег Тимофеевич, для вас не был неожиданным отказ от программы «500 дней»?

— Этого следовало ожидать. Если бы Президент призвал демократов проголосовать за эту программу, парламент ее бы одобрил. Рыжкову пришлось бы уйти в отставку. Президент не пожелал расставаться со своим правительством. Пожертвовав правительством, Президент столкнулся бы с огромными трудностями при формировании нового. По существу, в соответствии с программой «500 дней» речь бы уже шла не о правительстве в прежнем виде. Это должен был стать комитет председателей Советов Министров республик, действующих добровольно и скоординированно, а не правительство прежнего, унитарного государства. Роль арбитра и главы в этом случае взял бы на себя Президент. Неуспех новой деятельности означал бы для Президента необходимость уходить в отставку. Эти соображения, а может быть, и нажим консервативных сил заставили Президента отказаться от плана «500 дней». Значительное расширение полномочий республик угрожало ему частичной утратой власти. В будущем роль Президента могла бы свестись во многом к представительским функциям. Что, конечно, тоже не входило в планы Президента.

— В мировой практике бывали случаи, когда правительство страны, находящейся в глубоком кризисе, не уходило в отставку и, не прибегая к радикальным мерам, выводило страну из депрессии?

— В демократических странах, по-моему, такого не бывало. Конечно, в тоталитарных или автократических государствах при наличии диктатуры иногда и непопулярные лидеры, и непопулярные правительства могли держаться у власти довольно долго. Однако нормальные демократические процедуры предусматривают, даже без давления со стороны парламента, уход правительства, не выполнившего своих обязательств. А у нас, например, был принят в 1986 году пятилетний план, его представил глава нынешнего правительства. Жизнь опрокинула этот план. Его концепция была совершенно ложная: к тому же те, кто отвечал за его выполнение, допустили трагические ошибки. И никто не хочет нести ответственность за это. XXVIII съезд вообще обошел вопрос об ответственности за решения, принятые XXVII съездом... А правительство тем более не отчитывалось. При наличии настоящей демократии это невозможно.

— Таким образом, мы сворачиваем в сторону с демократического пути?

— Я думаю, что да. Мы никак не можем научиться жить в соответствии с общечеловеческими нормами. Нам далеко до правового государства. Пока мы часто имеем лишь демократические декорации. Отсюда — падение авторитета и Верховного Совета, и Съезда народных депутатов, да и российского парламента тоже. Потому что они, к сожалению, не имеют власти, не способны решать серьезные вопросы, влиять на события. Это вызывает разочарование у людей.

Ася КОЛОДИЖНЕР





Фото Марка ШТЕЙНБОКА

НЕ ХОДИЛ БЫ ТЫ, ВАНЁК...

Провал весеннего призыва общеизвестен.

Теперь проваливается осенний призыв.

Республики не хотят отпускать своих парней в союзную армию. Матери прячут сыновей. Да и сами призывники не видят «священного долга» в том, чтобы испытывать на себе прелести дедовщины.

А на минувшей неделе даже те, кто не стал симулировать, прятаться, уклоняться от призыва, не смогли попасть на столичный сборный пункт. Дорогу новобранцам преградили пикетчики.

И тогда командиры нашли выход, точнее — вход. Лопоухих юнцов завели за угол и — в армию, по-воровски, через забор.

У нас все так: добровольно и с песнями.

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя семья набежала.
Ах, куда ты, паренек? Ах, куда ты?
Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты.
В Красной Армии штыки, чай, найдутся!
Без тебя большевики обойдутся.










МИЛИЦ



КОМУ ДОСТАНУТСЯ ЛИТПРИЛОЖЕНИЯ?

В одном из читательских писем, пришедших в редакцию, мы увидели вырезку из пермской газеты «Звезда»: «Пермское отделение издательства ЦК КПСС «Правда», Пермский областной комитет КПСС, Пермское областное отделение «Союзпечати» объявляют КОНКУРС лучших общественных распространителей газеты «Правда» подписки 1991 года по Пермской области. Устанавливается 70 премий в виде права подписки на литературные приложения к журналу «Огонек» и отдельные журналы издательства «Правда».

Среди этих журналов, естественно, «Огонька» не было.

Как свидетельствует почта, редакция газеты «Советская Кубань» также в качестве приза за лучшую организацию подписки на свою газету использует огоньковские приложения.

Подобная практика существует повсеместно, и не всегда о ней сообщает местная печать. Партаппарат, как видим, высоко ценит продукцию «Огонька». Что не помешало ему сыграть роковую роль в повышении цены журнала. От этого пострадали многие верные друзья редакции — пенсионеры, малообеспеченные семьи. Из-за цены от «Огонька» пришлось отказаться, как сообщают читатели, многим поселковым библиотекам, бюджет которых весьма скуден.

Интересно все-таки, из каких фондов берутся для премий абонементы? Из тех, что предназначены для местной «Союзпечати» и узурпируются парткомитетами? Или из других источников, о которых «Огоньку» пока ничего не известно и которые идут на стимуляцию доходов КПСС?

А где комитеты и комиссии Советов по гласности, о которых руководители Минсвязи говорят как о гарантах справедливого распределения лимита?

Впрочем, иные местные Советы тоже неплохо пополняют свою казну за счет наших литприложений. Во многих городах местные власти решили разыграть подписку на литприложения в лотерею. В Новгороде и Кировограде назначена цена одного лотерейного билета — 1 рубль. В Кировограде выпущено сто тысяч таких билетов, притом что выделили им 530 абонементов. Прибыль, как видите, легко подсчитывается.

Мы не против того, чтобы местные Советы зарабатывали деньги, но не смахивает ли это все-таки на нетрудовые доходы? По Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 1 января 1930 года редакция, захоти она провести подобную лотерею, должна была бы просить разрешения правительства СССР, отчислив едва ли не половину прибыли в госбюджет. А проведи мы такое мероприятие без позволения, на редакцию заведут судебное дело. Местной же власти никакого разрешения на лотерею не требуется.

В цивилизованном мире, используя продукцию фирмы, ее, во-первых, ставят в известность, а во-вторых, ей платят. Иначе все очень похоже на спекуляцию. «Нет,— объяснили нам в Минфине,— это бизнес».

Очень просто, оказывается, делать бизнес, был бы дефицит. Зачем развивать производство товаров и услуг, когда рубли появляются бесхлопотно? Глядишь, скоро и буханку хлеба, и десяток яиц нам предложат разыгрывать. То-то будет радости.

Справедливо ли, что подписчики журнала на литературные приложения подписаться не могут, а выписывает их тот, кто «Огонек», может быть, ненавидит? Этот вопрос часто звучит в письмах, и обида людей вполне понятна. Но что делать, если наши литприложения стали почти символом твердой валюты.

К сожалению, в нынешней подписной кампании редакция была поставлена в такие условия с затянувшейся регистрацией журнала, что все отношения с «Союзпечатью» остались прежними. И все-таки мы очень хотим, чтобы подписчики «Огонька» смогли получить Дюма. Пытаемся достать бумагу, договориться о полиграфических мощностях. И очень надеемся, что обладатели годовой подписки на журнал увидят долгожданные книги на своей полке.

А уж если и будем когда-нибудь устраивать лотерею, так для того, к примеру, чтобы помочь своим малообеспеченным подписчикам или чтобы заработать деньги для благотворительного фонда «Огонек»-АнтиСПИД», учрежденного журналом.

О. НЕМИРОВСКАЯ

■

Позвольте мне высказать некоторые мысли по поводу нашей государственной символики. Она так примелькалась, что на нее уже почти никто не обращает внимания. А здесь есть о чем призадуматься.

Известно, что всякий Государственный герб отражает идеи, принципы государства. А какие идеи отражает Герб Советского Союза? Несомненно одно — идею мирового гегемонизма. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на обыкновенный пятак.

На Гербе — государственная эмблема СССР, скрещенные серп и молот перекрывают весь земной шар. На мой взгляд, символизируют они только ручной труд в СССР, техническую отсталость. Далее земной шар обрамляют колосья, обвитые лентой с надписью на 15 языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Внизу лучи восходящего солнца обозначают коммунизм. (Невольно вспоминаешь Японию — Страну восходящего солнца.) Венчает данное геральдическое сооружение пятиконечная звезда. Выходит, Советской власти недостаточно одной шестой части мира. Но как-то не откликаются иностранные пролетарии на брошенный им призыв к соединению или, точнее, к присоединению к Стране Советов. И вот уже свои пролетарии, забыв, что они состоят в «Союзе нерушимом», запросились из него вон. Так что придется убирать надписи с ленты, хотя бы пока на трех балтийских языках.

К. С. ЕГОРОВ
Нижний Новгород

■

Прочитал в газетах о расширенном заседании Президиума Совмина СССР, на котором заслушаны отчеты МВД и КГБ, и, признаюсь, меня поразило выступление В. А. Крючкова. Цитирую: «Выступивший предложил создать специальный фонд, пополняемый за счет денежных и иных средств, конфискуемых у преступников, а также снять дактилоскопические данные у всего населения страны. Это, по словам Владимира Крючкова, стало бы большим подспорьем правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Такая мера, по его мнению, не нанесет ущерба достоинству честных людей...»

Нанесет, и еще как!

Прежде всего о «специальном фонде». Значит, если задержат вора с краденым, то его добычу могут обратить в свою пользу? Этак, дай волю кэгэбистам, они с особым рвением примутся грабить награбленное, коли можно обратить его в свою собственность.

И это еще цветочки!

А вот дактилоскопия всего населения... Не один раз слышал я, что КГБ не жалеет государственные деньги: при трехсотмиллионном населении нашей страны операция эта обойдется едва ли не в миллиард рублей.

Но главное, конечно, не в деньгах. Меня лично эта операция не волнует, я отсидел в тюрьме и лагере восемь лет, и отпечатки моих пальцев уже хранятся в архивах КГБ. Но по собственному опыту знаю, как унизительна и оскорбительна эта процедура.

Если бы такая полицейская фантазия пришла в голову какому-нибудь рядовому сыщику, я бы посчитал его предложение сюжетом для сатирического рассказа.

Но ведь это предлагает председатель КГБ!

Л. ОВАЛОВ,
член КПСС с 1920 года,
член Союза писателей с 1934 года

■

Недавно Центральное телевидение сообщило о тягостном факте: в центре Черноземья, в Воронеже, в октябре, после небывалого урожая люди по неделям не могут получить не только продукты, но даже талоны на них. В бесконечных очередях озверелые горожане выталкивают друг друга, устраивают потасовки. А я, глядя на сегодняшний Воронеж, вспоминал, как ходил в этот город в годы сталинского голодомора мальчишкой вместе с матерью пешком с Украины менять на съестное немудреные вещи и просить Христа ради.

Сразу же после воронежского сюжета диктор как ни в чем не бывало бойко сообщила: вчера издан Указ о проведении праздничных парадов войск в Москве и других городах.

Воистину получается, как в народном эпосе: «Пусть дефицит — мука, бензина — ни канистры, зато броня крепка, и танки наши быстры».

Хотелось бы знать мнение экономистов: не более благоразумно было бы предназначенные на ветер (то есть, извините, для парадов и подготовки к ним) горючее да и сами танки (с учетом их проходимости) бросить на спасение погибающей картошки?

Б. В. ПАНИН,
участник войны
Киев

■

Продолжается процесс возвращения первоначальных исторических названий улицам и городам, переименованным революционными энтузиастами... Откуда появилось у деятелей того времени это неуемное желание поменять привычные названия, безответственное отношение к исторической памяти народа?

Вспомним март 1918 года. Первое решение первого после взятия политической власти в стране съезда социал-демократической рабочей партии (большевиков) — решение о переименовании. Большевики по инициативе Ленина (В. Ульянова) взяли и переименовали сами себя. Партия из социал-демократической рабочей вдруг стала коммунистической. Социалисты стали коммунистами.

Это «единственно научное» переименование свершилось под «ура!» и летящие вверх шапки партийцев, было принято без каких-либо сомнений в его правомерности и справедливости.

Между тем любой непредвзятый исследователь должен признать, что переименование научно, справедливо и правомерно тогда и только тогда, когда изменилась внутренняя сущность объекта, субъекта или явления.

Несмотря на постоянное употребление терминов «социалист» и «коммунист», мало кто сможет указать на их сущностное различие. В результате прихода к власти ни партия, ни сами пришедшие к власти социалисты никаких внутренних изменений не претерпели. Ни в малейшей степени социалисты из РСДРП(б) не стали коммунистами по сути. Не остались они и социал-демократами: бюрократичность внутренней организации партии, пресловутый «демцентрализм» вскоре выжгли дотла и партийный настрой на демократию в обществе.

И если молодость позволила Володе Ульянову направить гнев по поводу казни брата в нужное русло (помните: мы пойдем другим путем...), а не хвататься за револьверы с целью отомстить, то великая радость от достижения промежуточной жизненной цели — партия взяла, наконец, власть! — сыграла злую шутку. Заблуждениями же людей более порядочных всегда успешно пользуются люди менее порядочные. Мы, коммунисты,— люди особого склада! — это он, И. Джугашвили, 1922 год. Заметьте, не самозванец. Его коммунистом вождь назвал, Ленин! Ну, а раз «особого склада» (а так и есть на самом деле, если сравнивать личности Ленина и Стали-

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ — РАБОТА ДЛЯ КГБ ●
МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ? ●
СКОЛЬКО СТОИТ РАТНЫЙ ПОДВИГ? ●

на), то — смертный бой социал-демократии! Это тоже он, Джугашвили. Ленин уже умер, сдерживающего начала нет...

Согласитесь, уж если люди некритично подходят к тому, как самим себя называть — социалистом или коммунистом,— то как называется город или улица и какая суть за этим стоит, им совершенно безразлично. Поэтому их разум не противится никаким переименованиям, в том числе и явно конъюнктурным, неправомерным.

Е. П. МИНИН,
член КПСС с 1977 по 1986 г., майор запаса СА

■

«Мы должны накормить народ!» Такую фразу можно услышать от многих общественных деятелей, как «консерваторов», так и «радикалов». Нашлись сотни общественных деятелей и десятки партий, готовых управлять народом и кормить его. Легко заметить, что все добровольные «кормильцы народа» сходятся в одном: без них никто это сделать не сможет. Народ без них погибнет!

Но с каких это пор правители или какие бы то ни было общественные деятели кормили народ? Только сам народ и может себя прокормить. Спрашивается: а почему же это не происходит при социализме? Ясно, почему: у народа отняли свободу самому кормиться. Ему навязали принудительный труд, отняли у него все плоды его труда, захватив власть «кормить народ», то есть распоряжаться трудом 300-миллионного населения и по своей воле распределять плоды его труда.

Рынок изобилия без повышения цен может появиться только при жесткой конкуренции многих миллионов настоящих хозяев-производителей. А это есть, по представлению правителей, «хаос», то есть потеря правителями власти управлять.

Большинство информационных источников сходятся на том, что огромная часть национального дохода СССР создается в «теневой», то есть в «незаконной», экономике. Но незаконна она только по социалистической идее. Представляете, как трудно организовать эффективное производство даже в законных условиях, а «теневая» экономика делает это в условиях глубокого подполья. Это показывает исключительные способности нашего народа к целесообразной и эффективной экономической деятельности.

Но ведь «теневая» экономика есть спекуляция и чрезмерно высокие цены. Конечно, потому что нет у покупателя выбора. Легализуйте эту «теневую», но вполне нормальную экономику и дайте ей возможность самой законно развиваться. К ней присоединится и народ в виде миллионов и миллионов настоящих хозяев-производителей.

Спрашивается: почему же народ, как хором сообщает пресса СССР, настроен против «теневой» экономики и считает ее деятелей аморальными? Потому что люди инстинктивно против нарушения, даже вредных, законов. Против лжи и обмана, против незаконной деятельности. Когда они жгут кооперативы, саботируют фермерство, аренду, акционерную собственность, выступают против «теневой» экономики, они делают это не из зависти к кому-то, а восстают против фальши.

Все общественные деятели в попытке самим кормить народ стараются изобрести единый для всех рецепт. А если дать свободу каждому отдельному человеку, так он найдет и использует такие средства, которые доступны только ему и только в данных обстоятельствах. Обеспечьте полную свободу любой человеческой деятельности, за исключением уголовно преступной (по общечеловеческим правилам). Хватит регулировать. Дайте свободу жить. Наш народ способен не только себя накормить, но еще и половину Европы, если понадобится. Он это делал не одну сотню лет.

д-р А. ФЕДОСЕЕВ
Лондон

■

Внимательно изучил Закон СССР «О пенсионном обеспечении военнослужащих», и у меня создалось впечатление, что его составили работники Министерства обороны, люди молодые, не участники Великой Отечественной войны, которым еще только предстоит выйти на пенсию, притом с выслугой не 25 лет, как гражданским, а с 20-летней, то есть в 40—45 лет. Значит, можно будет еще 20—25 лет поработать на гражданке и при этом получать военную пенсию.

Все внимание в Законе уделено тем, кому предстоит пенсия в будущем, и совсем немного — нам, офицерам, участникам войны с фашизмом, которым уже за семьдесят, инвалидам, немощным, доживающим последние годы. Лет через пять мы вовсе исчезнем. Но это, судя по всему, уже никого не волнует.

Справедливости ради скажу, что в Законе есть статья 17, второй абзац которой гласит, что пенсия офицерам — участникам войны при равных условиях увеличивается по сравнению с офицерами, неучастниками войны, аж на 17 р. 50 к., то есть на 25 процентов от минимального размера пенсии по возрасту.

Вот на какую сумму оценен ратный труд офицера-фронтовика.

П. ОКАРБО,
подполковник в отставке
Уфа

■

Англичане говорят: «Мой дом — моя крепость».

Мы, советские граждане, к сожалению, не можем так о себе сказать: не имеем своих домов, так как всё, в том числе и дома, принадлежит великому и безликому государству. А уж оно установило свои порядки и правила везде и всюду, даже в нашем жилище.

Свои права на наше жилище государство делегировало конторам, носящим аббревиатурные названия: ДЭЗ, ЖЭК, РЭУ... И наделило их исключительным правом устанавливать свои правила, регулирующие нашу жизнь на подведомственных им территориях. Очень важная задача у таких контор — контроль за выполнением этих правил всеми нами.

В круговерти политической борьбы эти недееспособные совладельцы забыли, что должны заботиться об условиях нашего проживания. Мы, квартиросъемщики, платим деньги владельцу не только за то, что он контролирует выполнение своих правил, но и за то еще, чтобы он выполнял свои обязанности, связанные с чистотой и благоустройством, с соблюдением элементарных санитарных норм. Но делать ему это не хочется. Отсюда — грязь во дворах, неубранный мусор, зловонные помойки. А так как мы не владельцы и сами не имеем права ничего изменить, то вынуждены нижайше умолять конторы хоть немного облегчить условия нашего существования.

В частности, умоляем убрать нечистоты из подвала, ликвидировать очаги размножения крыс и мышей, являющихся разносчиками различных заболеваний. Но глухи конторы, потому как понимают, что правила проживания должны выполнять мы, а они должны контролировать. Кто нам поможет?

Пишем, имея в виду конкретно свою ситуацию, но ведь такое положение едва ли не в каждом московском дворе. Да и только ли в Москве? И в других городах, читали, не лучше.

В такой ситуации, видимо, только скорейшая приватизация жилья и становление новых энергичных муниципальных служб могут изменить положение.

Л. А. УХЛИНОВА
и другие жильцы дома № 27
по Коломенской улице
Москва

■

Очень хотим сохранения в 1991 году всех ваших почитателей-читателей, и главное, тех, кто живет ниже черты бедности. Поэтому предлагаем и просим открыть счет помощи малоимущим подписчикам. Думаем, что мы станем не беднее, а сильнее, если каждый выделит несколько рублей для этой цели, а вам удастся максимально снизить стоимость подписки для этой категории людей.

В. ВОЗЛИНСКАЯ
Москва

Так как счет еще не открыт, посылаем на адрес редакции 10 рублей.

■

Работаю метеорологом в таджикском кишлаке, в местах, где самый низкий по Союзу уровень жизни. Раньше «Огонек» и другие издания — семь журналов на русском языке и столько же газет — брали в библиотеке и читали с большой пользой для себя. Теперь наш библиотекарь объяснил, что, поскольку ему дают на всю подписку 150 рублей, а цены повышаются, то «Огонька» не будет — это дорого.

У меня такая просьба к местным Советам и тем кооператорам, которые не чуждаются благотворительной деятельности: помогите библиотекам с подпиской, чтобы не сократилось количество изданий, хотя бы прежних. Таким, как мы, только одна возможность читать периодику — в библиотеках.

Н. Н. ДЕМЕНТЬЕВА
кишлак Хушьёри, Таджикистан

■

В № 18 за этот год помещена небольшая иллюстрированная статья художника А. Суханова «Геральдика Государства Российского» с изображением Русского Герба — двуглавого орла и с объяснением, что на груди орла герб города Москвы. А на другой странице изображен рисунок средневекового воина в шлеме, поражающего копьем дракона,— опять-таки с объяснением, что это и есть герб города Москвы. Но герб Москвы — икона св. Великомученика и Победоносца Георгия, который всегда изображается с непокрытой головой и с сиянием вокруг нее. Двуглавый орел только тогда делается Гербом Государства Российского, когда на груди его изображена именно эта икона-герб. В вашем же журнале изображена просто хорошенькая вымышленная картинка.

В № 28 журнала очень хорошее письмо г-на Г. Ражнева из Смоленска о русском трехцветном флаге. Описание флага великолепно, только зачем он его перевернул? Русский национальный флаг состоит из трех горизонтальных полос — белой, синей и красной, г-н Ражнев же поставил их наоборот — красная, синяя, белая.

По международному морскому коду перевернутый национальный флаг значит: «Терпим бедствие — помогите!» Мне кажется, что Россия, несмотря на 70 лет власти людей, которые не очень-то считались с Россией и ее народом, все-таки не доведена еще до такого состояния, чтобы так трагически обращаться ко всем: «Помогите!»

И я, и все русские люди, в России и «в рассеянии сущие», ждем, когда же в зале Верховного Совета России, в Москве вместо партийного значка на стене появятся наконец Российский Герб и Русский флаг.

Ю. М. ДОМАНСКИЙ
Стратфильд, Австралия

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшей публикацией сентября признан напечатанный в № 38 материал «Дом 1».

Мы поздравляем Александра ТЕРЕХОВА и Сергея ПЕТРУХИНА (фото) с присуждением им ежемесячной премии американской фирмы КОМПЬЮТРЭЙД ИНТЕРНЕШНЛ.

Владимир ГЛОТОВ,
обозреватель «Огонька»

ОКТЯБРЬ «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ»

Возвратимся к событию, о котором мы уже коротко сообщили в предыдущем номере,— оно требует того.

Речь идет о съезде движения «Демократическая Россия», состоявшемся в Москве в конце октября.

Что же, собственно, произошло?

Популярный кинотеатр на Пушкинской площади, взяв за аренду более 30 тысяч рублей (их собрали, создав фонд демократии, лучшие люди страны), предоставил крышу над головой представителям сотни с лишним политических партий, делегатам практически всех регионов Федерации, всех ее областей и автономий.

Для политического аскетизма и импотенции брежневских времен, где плоть разыгрывалась лишь у буфетных стоек, а в зале царствовала мертвящая скука, прерываемая отработанным ликованием, съезд демократов — очередной плевок, пощечина. Но он эпатирует и нынешнюю верховную власть, с ее унынием, с ее управляемым из президиума довольством собой, с ее судорогами совести, гасимыми послушным большинством, с ее скатыванием вправо.

Это был съезд улиц, провинции, глубинки России, которым обрыдло смотреть затянувшееся политическое шоу на телеэкране и которые вполне недвусмысленно заявили о себе как о политической силе, представляющей другую Россию. Не Россию полозковых, обкомов и райкомов, министерств и ведомств, председателей колхозов и барствующих директоров заводов военно-промышленного комплекса.

А внешне мероприятие казалось сумбурным: шум, гам, выкрики с места, заваленные одеждой кресла, толпа на сцене, матери погибших в армии, надрывно призывающие поставить свои подписи против Нобелевской премии нашему Президенту, пестрота фойе, бойкая торговля партийными изданиями, повсюду трехцветные флаги, портрет Сахарова, Елена Боннэр, разыскивающая в этой толпе свой красно-черный головной платок...

Но этот политический сквозняк, думается мне, не опасен нашему общественному здоровью — опасна мертвящая скука съезда РКП. Представитель «партии Полозкова», кстати, присутствовал в «России» в качестве «наблюдателя».

Понаблюдаем за съездом и мы.

ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ?

Речь о Травкине, о его выступлении. Оно произвело впечатление странное, одних шокировало, других оставило в недоумении.

Напомню: Травкин Николай Ильич, народный депутат СССР и России, в прошлом известный строитель, Герой Соцтруда, вышел из КПСС весной нынешнего года, сейчас председатель Демократической партии России, среди ориентиров которой главный — борьба с КПСС.

И вот — выступление Николая Травкина на съезде.

Смысл — зачем объединяться демократическим силам?

Мнение одного из лидеров бывшей «Демократической платформы», ныне формирующейся в самостоятельную партию, Владимира Лысенко: «Николай Ильич внес деструктивный элемент в работу съезда, в формирование его руководящих органов. Если бы он присутствовал и во второй день, ситуация была бы кризисной... Нас волнует усиление авторитарных, вождистских тенденций в Демократической партии России. Мы будем и дальше активно с ней сотрудничать, но хотели бы, чтобы это была действительно демократическая партия. Тем более что я беседовал со многими делегатами от ДПР с мест и убедился, что люди настроены подлинно демократически, приехали в Москву с желанием создать общее движение. И странно, что лидер партии выступил против создания движения...»

С тяжелым сердцем слушаю я такие суждения о человеке, который увлек меня своей столь необычной натурой.

ЧТО БЕСПОКОИТ ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВНУ?

Она вышла на сцену под аплодисменты и начала с сердитых слов: «До чего же мы склонны создавать культы... Из Сахарова, из меня...»

Елена Георгиевна, за чьей спиною как раз располагался портрет Андрея Дмитриевича, сказала, что ей грустно наблюдать, как ее встречают у входа хлопками, с восторженными лицами, как аплодируют здесь... И не менее грустно ей видеть, как на глазах возникают новые культы и новые герои, которые «стали демократами без году неделя», захватывают умы.

Напротив Елены Боннэр в зале сидели Гдлян, Иванов, Корягина... В перерывах их обступали, они чувствовали всеобщее внимание, оглядывались, блуждая взором и улыбаясь на вспышки фотокамер, к ним тянулись руки с магнитофонами, они обильно давали интервью.

О них, увы, о них вела речь вдова Сахарова. А еще о Калугине, бывшем генерале КГБ.

«Человек, который 30 лет проработал в КГБ,— говорила Елена Георгиевна,— и вдруг стал нашим демократическим героем? Простите, мне кажется, у нас опять застило глаза».

Потом Елена Боннэр с болью говорила о нетерпимости, с какой сидевшие в зале демократы расправляются со своими товарищами, как они способны, не разобравшись, клеймить друг друга. Вспомнила, как клеймили Андрея Дмитриевича, не простив ему тот факт, что он в ответ на звонок Горбачева сказал: «Спасибо».

«Но мало кто помнит,— говорила Е. Боннэр,— что первое, что сказал Андрей Дмитриевич, было — «только что в Чистопольской тюрьме убит мой друг Марченко...» — однако все помнят это «спасибо», хотя это было естественное «спасибо» интеллигентного человека... И если Андрей Дмитриевич писал, что психиатрические репрессии недопустимы, но среди людей, которые к нему обращаются, много действительно больных, нуждающихся в помощи психиатра,— наши друзья начинали на весь мир кампанию: ах, Андрей Дмитриевич защищает советскую репрессивную психиатрию!

Так нельзя работать, так нельзя жить!

Вы обвиняете Льва Пономарева в том, что он ведет переговоры с КГБ, с Лукьяновым?

Андрей Дмитриевич по поводу «Мемориала» без конца общался с Медведевым, со старым Моссоветом, с Лукьяновым, Крючковым. Я за десять месяцев, как умер Андрей Дмитриевич, минимум десять раз разговаривала с Крючковым, без конца — с Бакатиным, и я считаю достижением, подтвержденным письмом Бакатина, что лучевая болезнь включена в список болезней, с которыми актируют осужденных. Но это стоило десятков разговоров... Обвините меня за это агентом КГБ, я не возражаю. Любым агентом. Я уже была — сионистским, ЦРУ, масонов, готова стать и этим. Но я считаю абсолютно недопустимым, когда люди, пытающиеся в себе воспитать демократическое сознание, так нетерпимы и так одновременно горячо воспитывают в себе культ новых героев».

Что верно, то верно: много новых героев, нет новых лидеров. И здесь Елена Георгиевна вдруг спросила зал: «Скажите, кто ездил в ссылку к Юрию Орлову? Не в постные годы брежневщины, а в ее страшные годы, когда режим решил покончить с диссидентами? Кто помогал его семье?..»

Зал молчал.

«А Лева Пономарев ездил,— продолжала Боннэр.— Кто был инициатором первого реального демократического движения в нашей стране? Калугин? Гдлян? Нет, Пономарев, Самодуров...»

И тут Елена Георгиевна сформулировала мысль, столь важную, что резкость выражения ее не вызвала в зале протеста.

«Или вы действительно демократы,— сказала она,— или вы просто увлеклись демократическим движением, и тогда вы — толпа. Хотите остаться толпой — катайтесь из культа в культ, как шарик. Хотите стать движением, постарайтесь быть более ответственными. Не допускайте манипулирования собой... Посмотрите, Президент попросил чрезвычайных полномочий, ему их дали. Казалось бы, это предполагает и чрезвычайную его личную ответственность за то, что происходит в стране. Однако налицо перестановка акцентов: чрезвычайные полномочия у Президента, а ответственность переложена на республики... Задумываетесь ли вы, товарищи демократы, над этим?.. Один простак для ответа нашелся — Рыжков. Сейчас такими простаками, которые будут отвечать, хотят сделать вас, демократов».

ЧЕМУ РАД ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ?

Я знал его еще просто как Олега Румянцева — по августу 87-го, первому съезду неформалов.

За три года — гигантский скачок и закономерный рост: народный депутат РСФСР, секретарь Конституционной комиссии российского парламента. И — член президиума социал-демократической партии.

Однако на нынешнем съезде демократических сил Олег Румянцев был подчеркнуто вне партийных рамок.

С его точки зрения, мероприятие, собравшее две тысячи человек, имеет огромное политическое значение. А люди, которые приехали на съезд, при всей их непричесанности, горячности в выражении своих взглядов — это депутаты различных уровней, лучшая часть демократического движения.

«Есть потребность,— говорил Румянцев,— идентифицировать себя с движением «Демократическая Россия». Никто не покидал съезд, не хлопал дверью. Продолжали согласовывать позиции. Съезд продемонстрировал волю к тому, чтобы утвердиться как демократическая сила в обществе... Хотя, конечно, выявились три четких течения: либералов, радикалов и маргиналов».

Я спросил: кто есть кто?

Увы, четко выделить — по партийному признаку — нельзя. Наша многопартийность не классическая, не стратифицированная, в ней нет выраженных интересов и социальной базы, это скорее социокультурное размежевание. Это позволило Румянцеву в начале своего выступления сказать: «Все мы представляем одну партию — МЫ!»

То есть все делают одно дело — пробуждают к жизни гражданское общество, растут вместе с ним. «Позавчера диссиденты, вчера неформалы, сегодня народные депутаты, завтра, возможно, руководители страны» — не новая возникающая суперпартия, а широкое демократическое движение. Осознающая себя совокупность политических целей, идей, моральных принципов.

Не скрою — вызвало уважение к собеседнику, когда я услышал: «В выступлениях людей было уже меньше истерики, тупой ненависти к КПСС — хотя она вполне заслуживает такой ненависти,— звучала ответственность за судьбу страны».

Мы говорили о том, какие приняты съездом решения, какие резолюции. Главное — учреждено движение «Демократическая Россия». Принята политическая резолюция. Принято несколько резолюций — в одну строчку: об отставке правительства Рыжкова, о борьбе с монополией КПСС, о поддержке радикальных реформ, проводимых российским парламентом и его руководителем Б. Н. Ельциным. За основу принят Устав. Через месяц соберется совет представителей.

Но особое удовлетворение у Олега Румянцева вызвало заявление о Конституции. В нем — поддержка проекта новой Конституции Российской Федерации, принятого за рабочую основу Конституционной комиссией РСФСР.

Почему он говорил о Конституции?

Потому что, по его мнению, мы переживаем момент, когда две революции несутся вперед, опережая друг друга: революция конституционно-правовая («Мы ведь меняем строй через Конституцию!») и «революция баррикад», которая тоже способна заменить строй, и хуже, если он будет заменен перевертыванием табачных киосков и поджиганием райкомов.

И в этом состязании двух революций — главный посыл Румянцева: поддержите Конституцию! Участвуйте в ее обсуждении, чтобы потом принять через референдум.

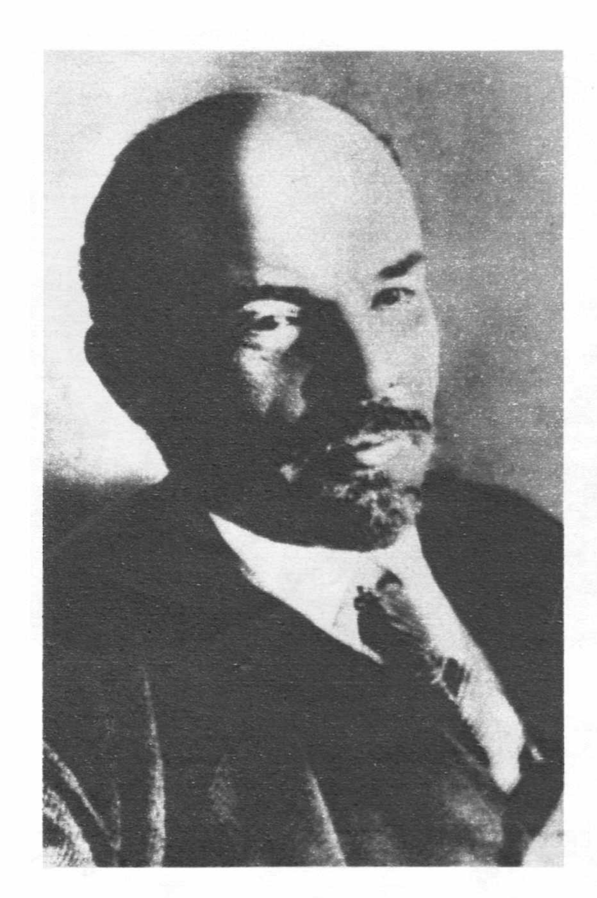
И он считает: никакой особой платформы движению «Демократическая Россия» не нужно. Все, что могло бы войти в его платформу, уже вошло в Конституцию. Она — лучший ориентир для демократии.

«Демократическая Россия» призывает другие движения и организации, в том числе и своих оппонентов, тоже выбрать этот ориентир.

«Пусть новая Конституция станет для всех платформой гражданского мира и социального согласия. Конечно, будут трудности,— говорил О. Румянцев,— будут и оппоненты, цепляющиеся за так называемый социалистический выбор. Да и сам Президент, к сожалению, ведет себя неудачно. Ему предлагают коалицию, образно говоря, «партии Горбачева» и «партии Ельцина», единственный реальный, казалось бы, выход: коалиция реформаторов-коммунистов и демократического движения,— но он отвергает ее и хочет коалиции лишь с теми, кто стоит на базе социалистического выбора. Но это же по меньшей мере нереалистично. Президент, ответственное лицо — и в такой ситуации говорит такие вещи!

Сегодня, в эпоху разброда и шатаний, как во всякую революционную эпоху, стоит вопрос «что делать?». Но в отличие от 1902 года, когда Ленин, отвечая на этот вопрос, поставил задачу упрочения воинствующего марксизма, мы отвечаем иначе: создание, упрочение и защита в России демократического конституционного строя».

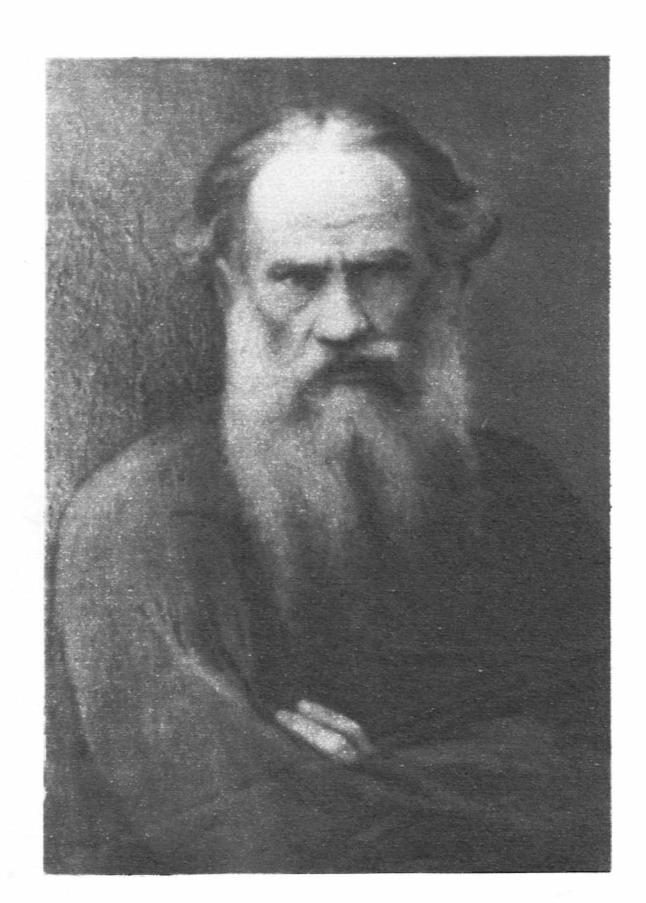
Вот для чего — скажу вслед за моими собеседниками, завершая разговор,— этот съезд, утвердивший движение «Демократическая Россия». Смотр сил рядовых работников конституционно-правовой революции, которую не должна опередить на бездорожье, среди мерзостей нашей жизни, «революция баррикад».



К 80-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

В. И. ЛЕНИН:
Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы.

Л. Н. ТОЛСТОЙ:
Почему вы думаете, что люди, которые составят новое правительство, люди, которые будут заведовать фабриками, землею... не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смирным только необходимое... Извратить же человеческое устройство всегда найдутся тысячи способов у людей, руководствующихся только заботой о своем личном благосостоянии.



Илья КОНСТАНТИНОВСКИЙ

Лев Толстой, как зеркало перестройки

Лев Толстой скончался 7 ноября 1910 года (по старому стилю) на никому дотоле не известной железнодорожной станции Астапово. О драматических обстоятельствах этой смерти и предшествовавшем ей бегстве восьмидесятидвухлетнего писателя из родного дома в Ясной Поляне, где он прожил почти весь свой век, написано видимо-невидимо. Значительно меньше работ об идейной драме, сопутствовавшей последним тридцати годам жизни Толстого, о его духовных исканиях, о глубинной сути мировоззрения этого человека, которого Бунин в свое время назвал одним из самых удивительных людей, когда-либо живших на земле.

Известно, что Толстой в старости редко обращался к художественной работе. Но напряженную работу мысли он никогда не прекращал и даже на смертном одре, будучи уже не в состоянии держать ручку в руках, диктовал свои мысли дочери, Александре Львовне, до последнего вздоха старался что-то додумать, выразить; едва ли не последние его слова были:

— Искать, все время искать...

Что искал Толстой в свой последний день на земле?

1

Почти весь октябрь 1910 года, то есть последний месяц своей жизни, Толстой работал над статьей «О социализме». Он начал ее писать по просьбе группы молодых чехов, которые задумали издать «Книгу для чтения» со статьями «социалистическими и народно-экономическими» и просили Толстого принять в ней участие. Толстой откликнулся на эту просьбу и решил еще раз высказать свои мысли о путях переустройства общества, которые он не раз выражал и прежде. Он не успел закончить новую статью, но продолжал интересоваться ею и после своего бегства из Ясной Поляны; 31 октября, в день своего заболевания, он написал В. Г. Черткову, что хотел бы получить неоконченную рукопись. Ее не могли тогда сразу найти и обнаружили только после смерти писателя.

Современному русскому читателю последняя толстовская статья практически неизвестна по той простой причине, что она была опубликована одинединственный раз в 1936 году в академическом собрании сочинений Толстого, выходившем очень ограниченным тиражом. После революции на протяжении семи десятилетий вообще не принято было печатать работы Толстого, в которых он прямо выражал свои мысли о жизни, людях и обществе. Все исследователи толстовского наследия, да не только они, твердо придерживались общепринятого взгляда, что он велик как художник, но маловразумителен как философ и, в сущности, вреден как моралист и вероучитель. Взгляд этот в значительной степени основан на известных статьях Ленина, в которых говорилось, что, «с одной стороны», Толстой был гениальный художник, но, «с другой стороны — помещик, юродствующий во Христе»; «с одной стороны» — замечательно сильный и искренний протест против общества лжи и фальши, но, с другой стороны,— «толстовец», то есть истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом. С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, а с другой стороны, «проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии...». Толстой смешон, как пророк, говорилось в одной из ленинских статей.

Сегодня, спустя уже больше восьмидесяти лет со времени написания этих статей, естественно возникает вопрос: как выглядит Толстой «с одной» и «с другой стороны» в наши дни, как звучат толстовские мысли в свете того, что произошло в России и мире за все эти годы? Толстой и в самом деле «смешон, как пророк...»?

В своей неоконченной работе «О социализме» Толстой, отвечая на вопрос молодых чехов, каково, по его мнению, должно быть наилучшее социально-экономическое устройство будущего, писал:

«Желания вашего я никак не могу исполнить, во 1-х, потому что не знаю, не могу знать и думаю, что никто не может знать ни тех законов, по которым изменяется экономическая жизнь народов, ни той наилучшей формы экономической жизни, в какую должно сложиться современное общество, как это думают знать социалисты и их учителя, во 2-х, еще и потому, что если бы я и воображал себе, что знаю законы... как это думали и думают все социалистические реформаторы от Сен-Симона, Фурье, Оуэна до Маркса, Энгельса, Бернштейна и других, я бы никак не решился бы сказать этого... потому что все эти вымышленные законы... не только не содействуют благу людей, но составляют одну из главных причин того неустройства человеческих обществ, от которого теперь страдают люди нашего времени».

В этом рассуждении отправная точка воззрений Толстого не только на социализм, но и на любую другую предрешенную форму общества. Убеждение, что можно придумать наилучшее устройство экономической и социальной жизни людей, он называл суеверием устроительства и на протяжении многих лет не уставал предостерегать от него и указывать на его пагубность.

«Все войны, все казни, все революции, все ограбления трудящихся нетрудящимися, все общественные бедствия зиждутся только на этом суеверии».

Толстой утверждал, что веру в то, что «...одни люди, составив себе план о том, как, по их мнению, желательно и должно быть устроено общество, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей», он бы назвал заблуждением комическим, если бы «...последствия его не были столь ужасны».

Толстой писал: «Ведь, во-первых, излюбленное тобою устройство жизни не может быть несомненно истинным (так же уверены и другие); во-вторых, никогда не осуществляется то устройство, которое хотят установить люди, а совершается большей частью совершенно противоположное, в-третьих, всякое насилие, а потому и то, которое вы считаете себя вправе употреблять, никак не содействует, а, напротив, всегда противодействует всякому благоустройству, и, в-четвертых, главное, ваше призвание в этой жизни, которая каждую минуту может прекратиться, никак не может быть ни в том, чтобы удержать существующее устройство, ни в том, чтобы установить то или иное общественное устройство, а может быть только в исполнении своих человеческих обязанностей перед Богом или перед своей совестью, если вы не признаете Бога».

За год до своей смерти Толстой даже собирался посвятить суеверию устроительства художественное произведение — писал, думая об этом: «Очень хорошо бы ясно, пожалуй, в образах высказать мысль о том, как вредно и тщетно устраивание жизни не только для других людей, но и самого себя... Почти все это зло мира от этого».

Но толстовская критика социалистической утопии этим не ограничивалась. На протяжении многих лет в статьях,



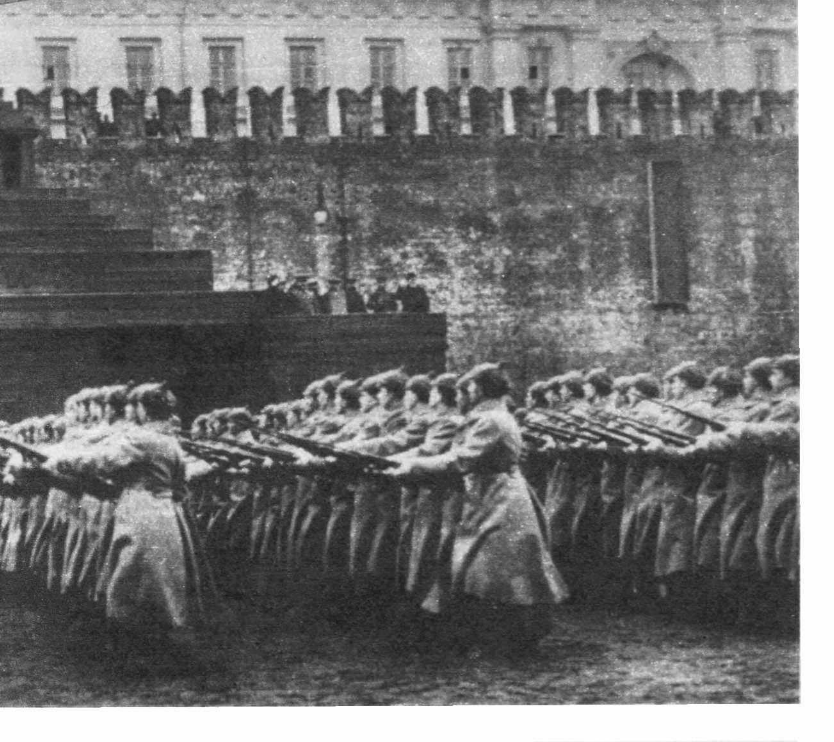

ЕДИНСТВО И
СПЛОЧЕННОСТЬ
ЛЕНИНСКОЙ
ПАРТИИ
ПРЕОДОЛЕЮТ
ТРУДНОСТИ






Искоренин врагов народа – троцкистско-буха-
ринских
-ных фашистских разведок! Смерть








PROLETARIER
ALLER LÄNDER,
VEREINIGT EUCH!
МЕТРО


РЕШЕНИЯ
ПАРТИИ
ВЫПОЛНИМ!



дневниковых записях, письмах, иногда и в своих художественных произведениях он не раз возвращался к этому вопросу. Может ли нас не интересовать то, что Толстой думал и открыл, исследуя социалистическую идею задолго до того, как началось ее практическое осуществление, и в «первой стране победившего социализма» случилось все то, что происходит теперь на наших глазах?

2

Среди множества легенд о Толстом, создававшихся уже при его жизни, до сих пор бытует и та, будто он был чуть не невежда в вопросах политэкономии и обществоведения. Во всех без исключений биографиях и исследованиях о Толстом, написанных и опубликованных у нас после революции, на все лады превозносились ленинские статьи, в которых утверждалось, что «с одной стороны» автор «Войны и мира» был гением, но «с другой стороны» почти дурачком, выразителем идеологии патриархального мужика, который, разумеется, не понимал роли рабочего класса и не в состоянии был оценить перспективы социализма в России и уж, конечно, «передовое учение пролетариата» и предвидеть «сегодняшнюю» счастливую жизнь трудящихся масс». Сильно доставалось Толстому и за «вредную догму» о недопустимости насилия и «его доктрины «совести» и всеобщей «любви». Но любопытнее тут другое. Среди резких, крайних самооценок Толстого встречаются и признания, что он «почти невежда» в науке. Но он никогда этого не говорил, если речь заходила о «научном социализме». Напротив, не раз подчеркивал свое знакомство с социалистическими теориями. В Яснополянской библиотеке имеется много книг о социализме с толстовскими пометками на полях. «Я внимательно прочитал «Капитал» Маркса,— писал однажды Толстой своему другу В. А. Поссе,— и готов сдать по нему экзамен». Другое дело, что он судил о теории Маркса «по-толстовски», его неприятно поразило уже то, что Маркс «самые простые вещи говорит запутанно, мудреным словом». Это противоречило основному принципу Толстого-мыслителя, который всегда стремился говорить просто, доходчиво и «не о том, о чем все говорят, и что никому не нужно, а о том, о чем никто не говорит, и что всем важно и нужно». Размышляя о социализме, Толстой думал прежде всего о человеке и его природе: «...При социалистическом устройстве необходимы распорядители. Откуда возьмут таких людей, которые без злоупотреблений устроят посредством насилия социалистический справедливый строй?».

Могла ли замена собственников, капиталистов управляющими и распределяющими решить социальный вопрос? Вот несколько примеров толстовских рассуждений на эту тему.

16 августа 1893 года он записал в своем дневнике: «Разговор с социалдемократами (юноши и девицы). Они говорят: «Капиталистическое устройство перейдет в руки рабочих и тогда не будет уже угнетения рабочих и несправедливого распределения заработка».—«Да кто же будет учреждать работы, управлять ими?» — спрашиваю я. «Само собой будет идти, сами рабочие будут распоряжаться».— «Да ведь капиталистическое устройство установилось только потому, что нужны для этого практического дела распорядители с властью. А будет власть, будет злоупотребление ею, то же самое, с чем вы боретесь».

В другой раз уточнил: «Если бы и случилось то, что предсказывает Маркс, то случилось бы только то, что деспотизм переместился бы, то властвовали капиталисты, а то будут властвовать распорядители рабочих».

«Смешное» пророчество? Многое можно о нем сказать сегодня, однако смешным его, пожалуй, не назовешь.

Десятки раз и в разные годы Толстой возвращался к простейшему здравому смыслу при оценке стройных схем построения нового, обязательно счастливого общества. «Прекрасно было бы, если бы правительство организовало труд; но для этого оно должно быть бескорыстным, святым. Где же они эти святые?»... «Но положим, что вы достигнете того, что желаете: свергнете теперешнее правительство и учредите новое, овладеете всеми фабриками, заводами, землею. Почему вы думаете, что люди, которые составят новое правительство, люди, которые будут заведовать фабриками, землею... не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смирным только необходимое... Извратить же человеческое устройство всегда найдутся тысячи способов у людей, руководствующихся только заботой о своем личном благосостоянии».

Вот еще одна пространная запись — 7 сентября 1889 года — на ту же тему: «Думал все о том же, почему осуществление Царства Божьего на земле никак не может совершиться ни путем того правительственного насилия, которое теперь существует, ни путем революции и правительственного социализма...

И вот некоторые люди говорят, что надо уничтожить этих правителей и основать другого рода правительство, ведающее преимущественно экономические дела, которое, признав все капиталы и землю общим достоянием, управляло бы работой людей и распределяло бы их блага мирские соответственно их работе, или потребностям, как говорят другие... И без испытания такого устройства можно смело сказать, что при стремлении людей к личному благу, устройство такое не может осуществиться, потому что те люди, очень много людей, которые будут заведовать экономическими распорядками, будут люди в стремлении к личному благу и будут иметь дело с такими же людьми и потому неизбежно в устройстве и поддержании нового экономического склада будут преследовать свои личные выгоды так же, как и прежние правители, и тем будут нарушать смысл самого того дела, к которому они призваны. Скажут: выбрать таких людей — мудрых и святых. Но выбрать мудрых и святых могут только мудрые и святые. Если бы все люди были мудрые и святые, то не нужно бы было никакого устройства».

3

Свою основополагающую статью о толстовских сочинениях Ленин назвал «Лев Толстой, как зеркало русской революции». В ней ничего не говорилось об одном из самых чудесных свойств этого «зеркала»: оно отразило не только русскую жизнь того времени, но и будущее. В творениях Толстого отразилась душа человеческая, которая жила и будет жить в разных людях в разные времена. В годы, когда Толстой писал свои книги, в них, конечно, можно было увидеть и «противоречивые условия, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции», и многое другое, что интересовало тогда деятелей революции. Ну, а что волнует и потрясает читателей Толстого сегодня, сто лет спустя? «Идеология восточного строя, азиатского строя»? Толстой очень точно предугадал, к чему может привести русская революция. Как он предсказал, так и вышло. И это несмотря на то, что он никогда не стремился заглянуть в будущее и много раз говорил, повторял: «Знать, что было и будет, и даже то, что есть, мы не можем знать, но знать, что мы должны делать, это мы не только можем, но всегда знаем, и это одно нам нужно».

Ленин же думал нечто прямо противоположное, в его статьях и речах почти всегда шла речь о будущем. Он утверждал: «Чудесное пророчество есть сказка. Но научное пророчество есть факт».

Будущее, о котором столь часто говорил Ленин, давно перешло для нас в прошлое. Нужно ли еще и сегодня цитировать ленинские научные пророчества типа: «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы»? Или: «...Советская власть есть новый тип государства без бюрократии, без полиции, без постоянной армии...»? И можно ли забыть предостережение, сделанное Толстым в письме революционеру Мунтьянову? «...Ни вы, ни я, ни правительство, ни революционеры, никто на свете не призван к тому, чтобы устраивать по-своему жизнь человеческую и отплачивать тем, кто, по их мнению, дурно поступил. То, что мы не призваны к этому, видно из того, что мы совершенно не властны в этом — хотим сделать одно, а выходит совсем другое».

Это было сказано меньше чем за десять лет до Октября семнадцатого, начала того периода русской истории, когда с особенной наглядностью подтвердилось, сколь часто мы «хотим сделать одно, а выходит совсем другое».

Был ли Толстой противником революции?

Толстой был принципиальным противником насилия, видел в нем того же царя Мидаса: с какой бы целью насилие ни применялось, оно сразу же уничтожает самое цель. Как бы справедливы ни были требования революции, как только инструментом их достижения становится насилие, достигается нечто прямо противоположное.

Толстой писал, что Французская революция провозгласила очень верные принципы, но: «...все они стали ложью, как только их стали внедрять насилием...»

Долго, упорно, отчаянно обличал Толстой насилие. Снова и снова подвергал рассмотрению его формы и неминуемые последствия:

— Насилие соблазнительно потому, что освобождает от усилия внимания, работы разума. Надо потрудиться разобрать узел — оборвать короче.

— Самая власть есть злоупотребление силой. Здесь подтверждается закон Дарвина в другом смысле. Там переживает наиболее приспособленный, а здесь из всех насильников самый бессовестный, наглый и потому, где есть насилие, всегда есть злоупотребление насилием.

— Чем бы люди ни пытались освободиться от насилия, одним только нельзя освободиться от него: насилием.

Читая толстовские записи сегодня, невольно думаешь: почему столь распространено мнение, что нам не дано знать будущего? И Толстой так думал. Но вот он же писал в «Письме революционеру» почти сто лет тому назад: «...Как только дело решается насилием, насилие не может прекратиться... При решении дела насилием, победа всегда остается не за лучшими людьми, а за более эгоистичными, хитрыми, бессовестными и жестокими. Люди же эгоистичные, бессовестные и жестокие не имеют никаких оснований для того, чтобы отказаться в пользу народа от тех выгод, которые они приобрели и которыми пользуются».

В свете всей нашей, да и не только нашей, истории с начала революции кто посмеет сказать, что этот простой взгляд на будущее оказался неверным?

Толстой предугадал и логику тех, кто думал, что неучастие в революционном насилии лишь ставит человека на сторону угнетателей, заметил по этому поводу: «Так что кажущийся таким трудным вопрос о том, не ошибочно ли было бы среди всех живущих насилием злых, быть одному или немногим непротивящимися добрыми, подобен вопросу о том, как быть трезвому среди пьяных, не лучше ли напиться вместе со всеми».

Именно так и поступает множество людей. Опьянение безумием насилия едва ли не главная черта времени, наступившего после Толстого. При его жизни русские социалисты-революционеры полагали, что они имеют моральное право казнить царей и их слуг только в том случае, если жертвуют при этом своей собственной жизнью. Организаторы «красного террора» и устроители ГУЛАГа так уже не думали. Каляев не бросил бомбу в карету великого князя, увидев, что в ней едут и его дети. Террористы наших дней уже не раз брали заложниками детей, именно детей, которые беззащитнее взрослых. Толстому еще казалось, что: «Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше смертью». В наш век технического прогресса и господства массмедии выяснилось, что достаточно приносить в жертву других людей — кто больше убивает, того и слушают.

Решительно осуждая насилие, Толстой, однако, никогда не отрицал необходимости ненасильственных революций: «Революция только та благотворна, которая разрушает старое только тем, что уже установила новое... Не склеивать рану, не вырезать ее, а вытеснять ее живой клетчаткой».

В понимании Толстого «жизнь человеческая только в том и состоит, что время дальше и дальше открывает скрытое и показывает верность или неверность пути, по которому они шли в прошлом. Но бывают времена, когда в жизни как отдельного человека, так и всего общества открывается ясно та ошибка, которая была сделана в направлении истины прошедшего, и выясняется та истина, которая должна исправить эту ошибку. Это время революции».

Толстой писал о нашей перестройке?

4

За восемьдесят лет, прошедших со дня смерти Толстого, Россия и мир неузнаваемо изменились. Но, читая его сегодня, не раз ловишь себя на впечатлении, что это было написано в наши дни. Неувядаемая свежесть толстовских художественных произведений не представляет особой загадки — ведь Толстой не единственный великий писатель, чьи творения волнуют все новые и новые поколения людей. Но вот оказалось, что и «нехудожественное», написанное Толстым, его дневники и исповеди, его мысли на каждый день отнюдь не потеряли своей актуальности. На страницах толстовских дневников то и дело встречаются размышления на самые острые темы нашего сегодняшнего дня. Перечислить их в одной журнальной статье, конечно, невозможно. Но следует сказать о главном.

Толстой писал незадолго до своей смерти:

«Что делать? — спрашивают одинаково и властители, и подчиненные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом «Что делать?»... всегда вопрос о том что делать с другими, но никто не спрашивает, что мне делать с самим собой».

Высшая и все разъясняющая точка в мировоззрении Толстого именно тут — в мысли, что нельзя навязывать свою волю другим людям. Еще в «Исповеди», отразившей духовный кризис, пережитый им в середине своей жизни, он с болью и иронией вспоминал свои молодые годы, когда «сделал тот странный вывод, что для того, чтобы мне было жить хорошо, надо исправить жизнь других...» Толстой вспоминает, что, в сущности, он уже и тогда понимал, что самый простой и истинный вывод должен быть другой: надо улучшать свою жизнь и жить лучше. «Нельзя жить и считать себя правым, когда каждый день ешь хотя бы сухую корку, а есть люди, старики и дети, которым нечего положить себе в рот».

Это то, с чем никак не могла согласиться графиня Толстая, которая суди-

ла о жизни и о своем муже трезвым практическим умом матери семейства, озабоченной будущим своих детей. Она не могла не осуждать склонности Льва Николаевича считать лично себя виноватым за все, что он видел плохого, испытывать стыд и боль за свою хоть и не роскошную, как думали многие, но все же материально вполне благополучную жизнь. Стремление Толстого вечно каяться, самоисправляться, «оплакивать все погосты», говорить о себе, как о чуть ли не баснословном злодее, не могла понять не только Софья Андреевна, которая уверяла, что «Левочку никто не знает, знаю только я — он больной и ненормальный человек», и даже советовала ему: «Тебе полечиться надо!» Царский министр полиции Плеве был совершенно с этим согласен и собирался посадить Толстого в сумасшедший дом, но Александр III на это не решился.

Но толстовские выводы не могли понравиться и борцам за социальную справедливость. Не только Ленин высмеял нравственную проповедь Толстого. Вот и Плеханов, цитируя Толстого, написавшего однажды, что он «виноват и гадок и достоин презрения» за то, что не идет до конца по пути, который указывает, комментирует эти слова так: «Это настоящая трагедия, много пострадал человек, из-под пера которого вышли эти строки. Но в чем заключается «пафос» трагедии (как выразился бы Белинский)?» По мнению Плеханова, виноват не сам Толстой, а «именно тот путь, по которому он шел, вернее пытался идти». Тургенев, влюбленный в художественный дар Толстого, полагал «ерундой» его религиозные поиски и моральную проповедь. А марксист Плеханов считает эту «ерунду» опасной и вредной благодаря известности Толстого и влиянию его имени на людей. Ведь он, Толстой, предлагает каждому «исправлять своего преступника» и, «прежде, чем заниматься политикой, каждому человеку надо заниматься своей жизнью». С точки зрения марксиста Плеханова, нужно было прежде всего заниматься исправлением общества. У революционеров, занятых «борьбой за благо народа», не было личных трагедий, во всяком случае, их пафос не был «толстовским». Революционеры не изобличали свои собственные слабости и пороки, они считали нескромным заниматься собой и были заняты только другими людьми, главным образом устранением тех, кто думал иначе, чем они сами.

Толстой первый усомнился в искренности профессиональных борцов «за светлое будущее», не говоря уже о царских политиках и чиновниках. Рассуждая о политиках и политиканах, он иногда употреблял в дневнике тон, редко встречающийся в его высказываниях: «Люди от царя до товарища рабочего, уверяют себя и других, что они заняты благом народа, а они заняты им сколько курица построением храма, а движимы только грубым эгоизмом».

Тут нельзя не сказать о том, как много неверного нагромоздили вокруг «толстовца» из Ясной Поляны толкователи, не могущие примириться с его неприятием насилия и проповедью «неделания». Толстой, однако, никогда этого не проповедовал. Говоря о непротивлении злу насилием, он утверждал:

— Человеку свойственно делать — и даже никогда не переставая делать — усилия...

— Все хорошее, все настоящее, всякий истинный акт жизни совершается усилием: не делай усилий, живи по течению и ты не живешь...

— Будем, друг мой, делателями по мере сил наших. Только в этом жизнь. Другой нет...

Стоит взглянуть на жизнь самого Толстого: сколько успел он сделать! В каком великом «делании» провел свои дни этот человек, которому приписывают проповедь неделания.

Другой разговор, что и как предлагал Толстой делать. После того как мы почти весь двадцатый век потратили на делание того, чего не надо было делать, небесполезно вспомнить, что говорил Толстой накануне нашего страшного века: «И как это не неприятно революционерам и социалистам, истинная христианская и самая плодотворная в мире деятельность состоит в отрицательных поступках — не делать того, что противно Богу и совести...»

«Все несомненные заповеди, как заповедь: не убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй, всегда отрицательны. Положительные заповеди могут относиться только к духовной, всегда свободной деятельности: люби, желай другому, чего себе...»

Удивительно точно понимал Толстой, кому не понравятся его мысли. Вот, например, что писал о них Горький:

«Писатель национальный в самом истинном и всеобъемлющем значении этого понятия, Толстой воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, это все — нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу... В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать».

Сегодня уже нет нужды спорить с Горьким хотя бы потому, что этих его слов не найти больше ни в одном издании его сочинений. Недостатки нации уже «изжиты», их прочно «одолели» в эпоху «позднего Сталина», когда стали вымарывать из книг «прогрессивные» мысли Горького с той же беззастенчивостью, что и «реакционную проповедь» Толстого.

5

Теперь, когда под влиянием перестройки уже пересмотрено множество догм и отменено множество запретов, сковывавших нашу духовную жизнь, нельзя не удивляться тому, как мало изменилось то отношение к Толстому, которое приобрело после революции официальный и обязательный характер. До сих пор самой популярной биографией Толстого у нас считается книга Виктора Шкловского, в которой то и дело читаешь: «Лев Николаевич мечтал о прошлом, верил в прошлое». «Его непризнание истории, представление мира неподвижным делало его несчастливым». «Лев Николаевич утверждал, что завтра будет — вчера». Откуда все это? Виктор Шкловский, повторяя мысли, казавшиеся верными русским революционным интеллигентам накануне Октябрьской революции, делает вид, что в последующие годы ничего в России не произошло. Не пора ли наконец знатокам Толстого обозреть его биографию и миропонимание именно в свете того, что произошло после его смерти?

Впрочем, было бы ошибочным думать, будто взгляды В. Шкловского и других советских исследователей объясняются только казенными требованиями исходить в оценках Толстого из тезисов ленинских статей. И на Западе, где биографы Толстого не подверглись никакой цензуре, отношение к нему, точнее, к самой сущности его личности и философии, немногим рознится с тем, которое все еще в ходу у нас. Вот передо мной последняя появившаяся на Западе серьезная работа о Толстом, написанная итальянцем Пьетро Читати. Его книга «Толстой» получила в Италии престижную премию и была переведена и на другие языки. Итальянский писатель влюблен в художественный талант Толстого. Однако о его духовном пути и нравственной проповеди Читати думает почти то же самое, что думала Софья Андреевна сто лет тому назад, с той лишь разницей, что итальянец знаком с Фрейдом и современной психиатрией. Говоря о духовных исканиях Толстого, проявившихся с особой силой после написания «Анны Карениной», Читати пишет: «Каждый современный психиатр мог бы диагностировать в этих приступах страха острую форму депрессии, которая с годами стабилизируется». Читати уверен, что «Записки сумасшедшего», «Смерть Ивана Ильича», «Дьявол», «Крейцерова соната» — это «история одной одержимости, одержимости психологической болезнью, смертью, эросом, ненавистью».

Может, и не стоило бы воспроизводить такие высказывания — образец наивной самоуверенности некоторых европейских интеллектуалов, убежденных в правильности своего «научного» понимания «восточных варваров», если бы мнение цитированного выше итальянца не совпадало с сентенциями наших отечественных обывателей, принадлежащих иногда к самым образованным кругам. Когда заходит речь о философии Толстого и его нравственном «максимализме», то и дело приходится выслушивать невежественные и кощунственные высказывания о великом грешнике или даже сладострастнике, который не мог примириться с потерей потенции в старости и потому-де написал «Крейцерову сонату».

Толстой не был бы Толстым, если бы не понимал причины того раздражения, переходящего нередко в ненависть, которое вызывает его моральная требовательность у очень многих и очень разных людей. Однажды он высказался об этом так:

— Мне дают всякого рода лестные эпитеты: реформатора, великого человека и т. д. И в то же время не признают за мной самого простого здравого смысла... Я не реформатор, не философ, не апостол, но самое меньшее из достоинств, которое я могу приписать и приписываю, это — логичность и последовательность.

— Ты говоришь человеку ясное, простое, казалось бы нужное и обязательное для каждого человека, он ждет только, скоро ли ты кончишь... ты удивляешься, откуда такое непонимание... Отчего это? А оттого, что он чует, что твоя мысль, признавая неправильным его положение, разрушает то положение, которым он дорожит больше, чем правдивость мысли. И оттого он не понимает, не хочет понять то, что ты говоришь. В этом одном объяснение всех царствующих нелепых, называемых науками, рассуждений. Все оттого, что люди все разделяются на два рода: для одних мысль управляет жизнью, для других — наоборот. В этом одном ключ к объяснению безумия мира.

В этом ключ и к пониманию неприятия Толстого столь разными людьми, как царские чиновники и революционеры — марксисты, служители церкви и эстеты типа итальянца Пьетро Читати. Оттого что мысль Толстого разрушает самую основу многих теорий, идеологий, догм, их служители приписывают ему гениальность каждый раз, когда его сочинение не подвергает прямой критике то, во что они веруют, но как только выводы, к которым он приходит, противоречат их собственным, они пускаются в рассуждения о толстовском «недомыслии», точнее говоря, глупости, или о его «ненормальности», точнее говоря, сумасшествии.

6

Вопрос «Кто я?» сам Толстой задавал себе множество раз, он слышал его в себе с детских лет и до самой последней минуты своей. Об этом свидетельствует множество записей, которые он сделал в своих дневниках.

Сам Толстой ответил на этот вопрос всей долгой и удивительной жизнью и еще более удивительными сочинениями. Но литература о Толстом, хотя уже составляет целую библиотеку книг, на вопрос этот пока не ответила. Академическое собрание толстовских сочинений содержит огромный, как теперь принято говорить, банк сведений о нем, установлена история писания почти всех толстовских сочинений вместе с их вариантами, установлено даже, какими чернилами и на какой бумаге была написана каждая вещь. Однако еще не все, что написал Толстой, опубликовано. Даже этот огромный коллективный труд — девяностотомное собрание сочинений — не был доведен до конца. И это издание подвергалось цензуре, не говоря уже о том, что очень разными получились тома, подготовленные под наблюдением В. Г. Черткова, друга и единомышленника Толстого, и те, которые издавались после его смерти. Что было вымарано из рукописей Толстого цензорами сталинской «эпохи», какие толстовские мысли они посчитали «неправильными» и потому недостойными печати, мы до сих пор не знаем.

Вот уже стали у нас печатать Н. Бердяева, Н. Федорова, С. Булгакова, В. Розанова. Идет быстрый процесс реабилитации русской философской и религиозной мысли, запрещенной после революции. Не пора ли «реабилитировать» и Толстого? Ведь почти все, что он написал в последние тридцать лет своей жизни, было у нас под запретом. После революции никто и не помышлял о переиздании «Исповеди» или религиозных трактатов «В чем моя вера?». Ни разу не издавались толстовские «Дневники» — а ведь это едва ли не главная книга жизни Толстого, которую он создавал сам день за днем, на протяжении почти всей своей жизни, уникальная стенограмма мыслей и чувств человека, к которому вполне подходят слова Екклезиаста: решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем, это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя...

Давно пора создать на родине Толстого его научную биографию, установить точно, беспристрастно и полно главные его черты, отмести окончательно ходячие представления о «великом грешнике», «моральном максималисте», «толстовце», который якобы звал к «упрощению» и «неделанию».

Толстой не был «толстовцем», сам не раз говорил:

— Учения у меня никакого нет и не было. Я ничего не знаю такого, чего бы не знали все люди.

Толстой, конечно же, не был святым или пророком. Но мог ли он быть этаким странным гением, проявившим в своих художественных сочинениях глубочайшее понимание человеческой жизни (этого никто не отрицает), проникшим, как никто другой, в тайны человеческой психологии (с этим тоже все согласны), обладавшим огромным воображением (и против этого не спорят), но при всем том предлагавшим людям «маловразумительную», «туманную» философию, человеком, не способным понять то, что отлично понимают политэкономы, социологи и реформаторы современного общества?

— Искать, все время искать...

Толстой искал, в сущности, то, что, всегда ищут люди: смысл и цель жизни, твердую веру, Бога. Толстой искал именно то, что мы ищем теперь все, что ищут миллионы людей, усомнившихся в правильности той жизни, которую они вели до сих пор. Толстой, как, пожалуй, никто другой из великих русских писателей, мог бы участвовать в наших нынешних тревожных, порой даже отчаянных поисках, при условии, конечно, что будет покончено с концепцией «двух Толстых» — художника и мыслителя, которые якобы не совпадают и не представляют одинаковый интерес, и будут возвращены читателю все толстовские сочинения, без всяких купюр, сокращений и оговорок.

Сегодня, в восьмидесятую годовщину со дня смерти Толстого, этого, к сожалению, еще не произошло.

■

Владимир
КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ

ПОРАЖЕНИЕ



Вместо вступления

Задворками разбитых дач
Коней вторые сутки мучим,—
За мной вихрастый штаб-трубач
Качается в седле скрипучем.
Какая скучная война,—
На фронте ни врага, ни друга.
И душу гложет мысль одна —
Не слабо ль стянута подпруга.
А солнце южное печет,
Густая пыль забила поры,
В глаза горячий пот течет,
Жмут сапоги, обвисли шпоры —
И вдруг внезапный поворот,
За ним прудок, покрытый тиной,
Гусиный выводок, и вот —
Русалка с длинной хворостиной.
Цветная кофточка узка,
Но так пленительно прильнула,
А из-под легкого платка
Такая молния блеснула —
Как подтянулся эскадрон!
Как избоченился спесиво,
Как солнцем вылощен красиво
Золотокованый погон.
И, пламенным сверкая оком,
Срывая ногу так и так,
Приплясывая, скачет боком
Мой горбоносый аргамак.
И враз, почти без уговора,
Небрежной удали краса,
Гремят разведческого хора
Подобранные голоса.
И тенор, заливаясь свистом,
Уже ликует вполпьяна
О том, что в поле, поле чистом
Нам рано гибель суждена.

1

У смертников удел особый —
Жизнь щедро одарила их,—
Ворчит тюремщик узколобый,
Но он лишь тень среди живых.
Здесь все минуты на учете —
Полней живи, полней дыши,—
На смену сгорбленной заботе —
Стремительный полет души.
И вот она с недоуменьем
Глядит с воздушной высоты
Над временем и над забвеньем
На все, чем был когда-то ты.
И узелок твой за плечами,
Как птичий голос, невесом,
И твой почти не бывший дом
Вдруг весь осветится лучами
Иль свежевымытым окном.

2

Тогда воскреснувший Пугач
Еще примеривал движенья,
Во тьме невидимый трубач
Трубил надменно пораженья.
Потомки рыцарей стальных
Овчину смирную топтали,
В боях дневных, в боях ночных
Считать героев перестали.
И мы, влюбляясь на ходу,
Привычно кровью истекали,
Мы благосклонную беду
Губами жадными искали.
Но стихотворная сирень
И романтические розы
Подчеркивали скудость прозы
Окрестных сел и деревень,—
В окопы заползала лень.

3

Война хотела передышки
И обновленья прежних чувств,—
Мы знали счастье понаслышке
И по свидетельству искусств.
Мы верили и в пенье птицы,
И в верность розовых невест,
В рифмованные небылицы
И в непреложность общих мест —
Мне грустно, грустно — столько жара
Ты, сердце, расточило зря,
А в горных сумерках Тамара
Встает, как горная заря,
И над вершинами Кавказа,
Где туч сверкающих гряда,
Язык военного приказа
Надоедал нам иногда.

4

Еще дремота в мире бродит,
Меняет стрелки на часах,
А в дом разведчик звонко входит
С туманным утром в волосах.
Он передаст пакет с приказом,
Парадно шпорами рванет,
И ахнут пулеметы разом,
И пушка яростно зевнет.
И в памяти мутнеет где-то
Движенье ветки за окном,
Клочок приснившегося лета
В воздушном шарике цветном —
Душа становится скупее,
Письмо становится судьбой,—
Элегия и эпопея
В решительный вступают бой.

5

Нет новой темы о войне,
Она не правда, но преданье,
В ней все согласно старине —
И вдохновенье, и страданье,
Но есть худые сапоги,
Лоб, запотевший в лихорадке,
За рощей выжженной враги
В каком-то грозном беспорядке.
Один герой неутомим,
Он скачет, рубит, напирает —
Конь в серых яблоках под ним
Ноздрями тонкими играет.
Он пышно выгнул хвост дугой,
Храпит, копытом землю роя,
Но хлопнул выстрел и другой,
Герой упал, и нет героя.

6

О ротмистр! Вы ль тайком
вздохнули,
Как бы задумались душой,
Забыли сабли, пики, пули
Для этой тишины большой.
Лесная узкая дорога
Из галицийского села
В страну немого диалога
Нас незаметно привела.
Вы отпустили длинный повод,
И ваша трубка не дымит,
Пчела прилежная иль овод
В зеленых сумерках шумит.
Как мягко лошади ступают
По медом пахнущей траве,—
В неомраченной синеве
Без ветра листья закипают —
Два всадника, и тени две.

7

Закат, закат — прости нам, Бог,
За то, что мы порою пьяны,
За элегических дорог
Непоправимые изъяны.
За петербургский кавардак,
За верность шарику цветному,
За блиндированный чердак,
За счет столичному портному.
Так много накопилось их,
Счетов, и подлинных, и ложных,
Из первых рук, из рук вторых,
Совсем простых и очень сложных —
Без риторических затей
Нева Аврору колыхнула,
Натужно вздулась и пальнула
В толпу непрошеных гостей,
В Петровых и своих детей.

8

Ты помнишь странную тревогу,
Предчувствие глухих шагов?
Нева буравила дорогу
Среди гранитных берегов.
Она бурлила и кипела,
Трепала ветром вымпела,
Обломком льдины заскрипела
И в дымных кольцах отошла.
Летали брызги над мостами,
И тротуары без гуляк
Обледенелыми пластами
В свистящий пролегали мрак.
Торжественное разрушенье,
Величественный вид пустынь,
Громоподобное крушенье
Несокрушаемых твердынь.

9

Нахмурив брови, Всадник Медный
На вздыбленном своем коне
Внимал, как рвется мат победный
К дворцовой рухнувшей стене.
Его лицо не потемнело,
Лишь под копытами коня
Змея свивалась и шипела,—
Рука державная, звеня,
Над мертвым городом широко
Зловещий очертила круг,
И смехом пламенное око,
Как солнце, вспыхивало вдруг.





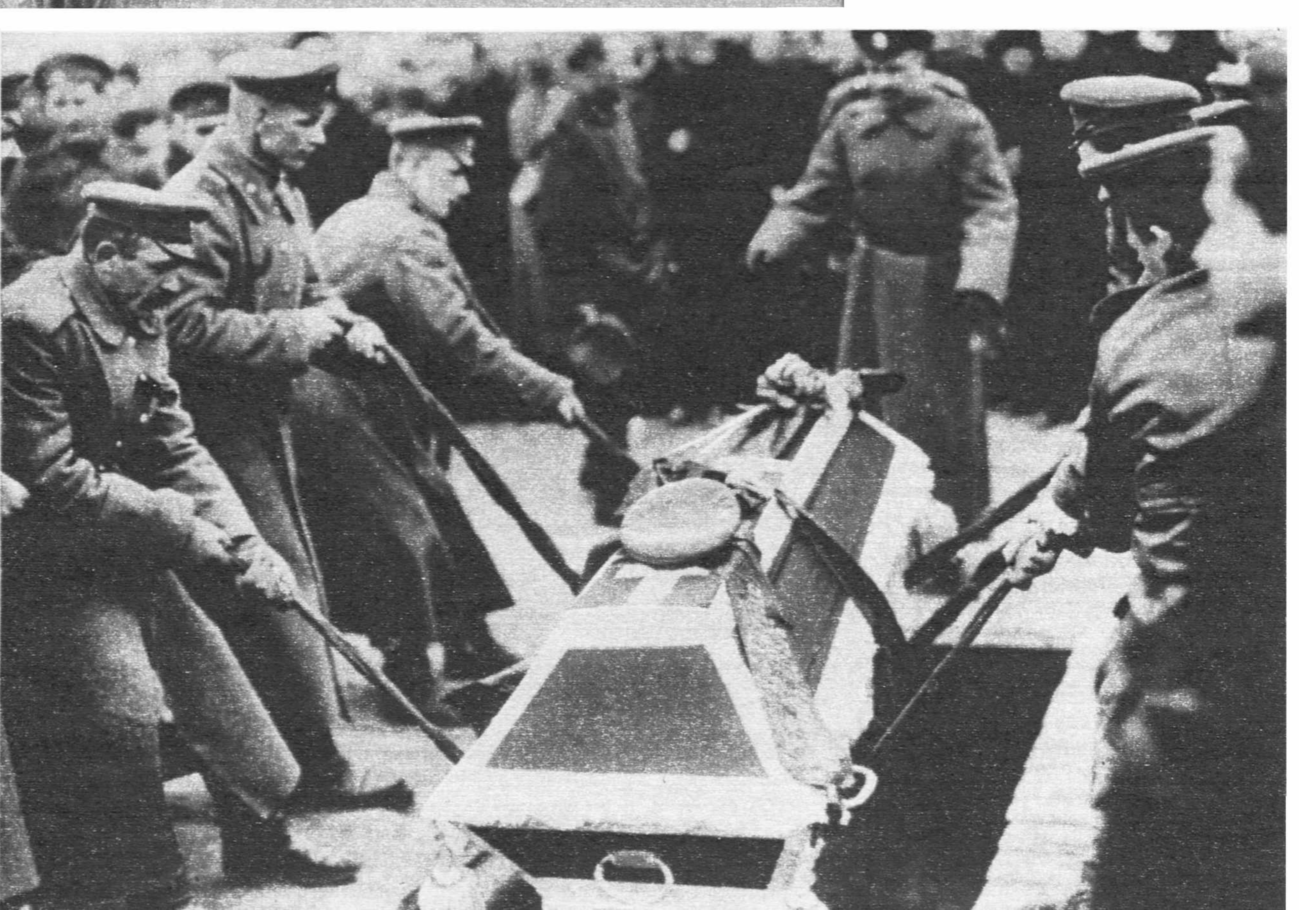
На зов его уже бежали
Мальчишки с ближнего двора,
И с криком радостным — ура! —
Салазки быстрые съезжали
С подножий ледяных Петра.

10

Шумит гражданская гроза,
Гигант стоит неколебимо,
И только узкие глаза
Следят за ним неутомимо.
На загнанном броневике
Ладонь широкая разжата,—
Есть сходство грозное в руке
С той, устремившейся куда-то.
Штыки и снег со всех сторон,
Пайки — и выстрелы вприправу,—
Гранитный город обречен
На устрашающую славу.
Гнездо истории горит,
Птенцы раздавлены ногами,
Скрипят века под сапогами —
Внимание! Он говорит —

11

И загудел весь шар земной,
Как мяч футбольный перед голом,
Врываясь с треском в мир иной,
Он лопнул с грохотом тяжелым.
Заглохла наскоро война
Провинциально и ненужно,—



И та, и эта сторона
Ее выплясывали дружно.
Но от людей, но от вещей
Сон отлетал, и ангел серый,
Уже бездомный и ничей,
Блуждал готической химерой.
Бессонница ко мне вошла,
Присела скромно к изголовью
И разговор про бедность вдовью
Со мной по дружбе завела —

12

Россия призраков разбита,
Мы отступали в никуда,
И только конские копыта
Ритм замедляли иногда.
Не каждой буре сердце радо,
Но с каждой бьется заодно,
Оно стучало — надо, надо,
Здесь все равны и все равно.
Дыши отныне как попало,
Учись без пламени гореть,
И если жизни было мало,—
И в жизни — мало умереть.
И вот — последняя граница,
Скалистый берег и поток;
Мы по команде — на восток! —
Угрюмо повернули лица.

13

Над перелеском вдалеке
Еще рвалась шрапнель дымками;
Трубач понурый в башлыке
Окоченевшими руками
Вознес помятую трубу
И, запрокинувшись немного,
В ночное небо иль в судьбу
Трубил пронзительно и строго.
Едва окрашенной чертой
День занимался над полями,
Земля шумела пустотой,
Метелями и ковылями.
Я беспокойным голосам
Внимал как бы прозревшим
слухом,—
Всем птицам, ангелам и духам,—
И я отрекся трижды сам.

14

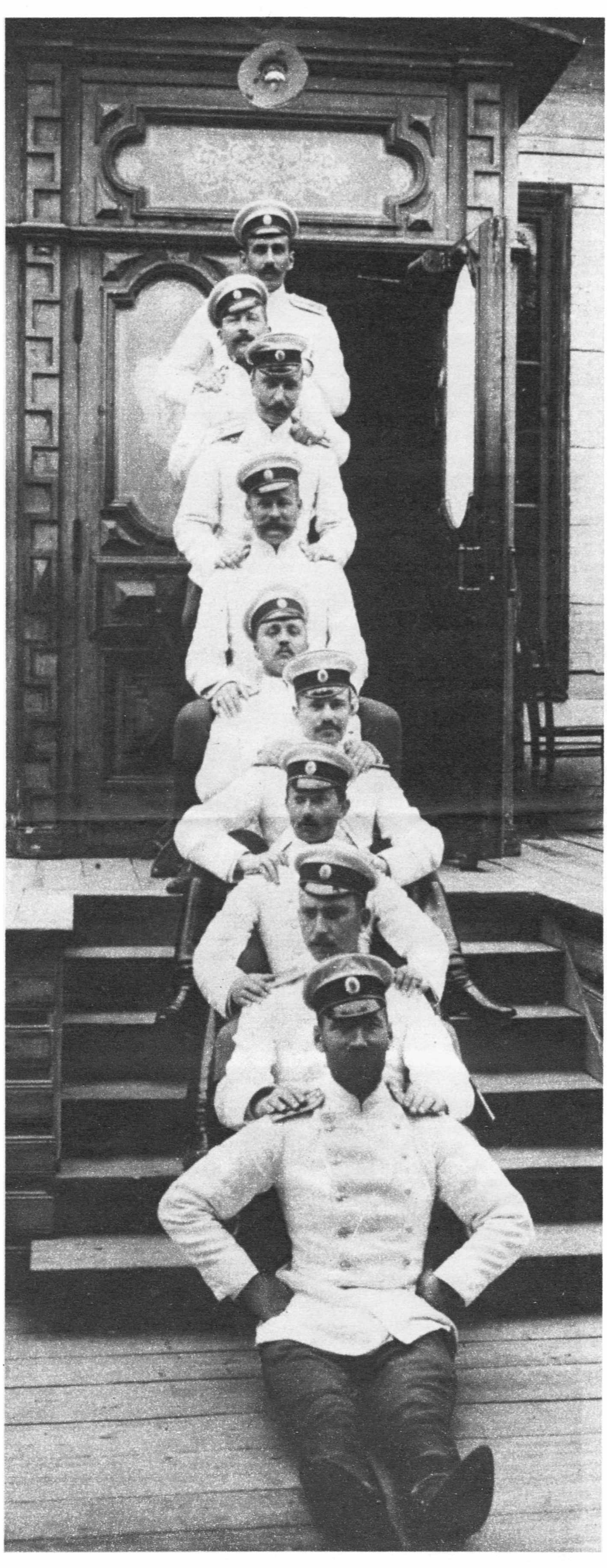
Куда бежать от осуждений,
От жалоб и тифозной вши?
Страна высоких заблуждений
Еще открыта для души.
Мы за большое пораженье
И против маленьких побед.
Мы принимаем униженье,
В котором униженья нет.
Побитые камнями чуда,
Найдя в паденье уголок,
Глядим без зависти оттуда
На тех, кто с нами пасть не мог.
Междоусобицы гражданской
Полусозревшее зерно,
Я по ветру лечу давно,—
Но мне в долине Дагестанской
Лежать быть может суждено.

15

Европа бредила во сне,
Ворочалась, звала, томилась,—
Средневековой старине
Мечта тяжелая приснилась.
Безвестный всадник проскакал,
И все мосты под ним дрожали,
Конь злобно щерил свой оскал,
За ним другие кони ржали.
Все убыстряя громкий скок,
Все больше напрягая жилы,
Он задыхался, изнемог,
И снова набирался силы.
Где средиземная волна
Блеснула пеной шаловливой,
Ездок рукой нетерпеливой
Над бездной вздыбил скакуна.

16

Был горный берег солнцем тронут,
Под солнцем — голубая мгла,
И там, где горы в рощах тонут,—



В воздушной пропасти скала.
И, выправляя стан железный,
Презрительно он посмотрел
На стены башни бесполезной
В щетине золоченых стрел.
— Наследство рабства золотого,
— Веков окаменевший сон,—
— Пускай ударит молот снова
— По наковальне их времен.
— Их песням скучным и тягучим
— За нашим ходом не поспеть,
— Мы спать бездельников отучим,
— Жизнь станет пламенем летучим,
— И это пламя будет петь.

17

Европа бредила, но мы
Уже по-новому дышали
Привычным воздухом чумы,—
Мы слушали и не мешали.
Согревшись в беженской пивной,
Мы вспоминали цвет сирени,
Расстрел под северной луной,
Садов взволнованные тени —
Но и в скитальческой тоске
Поэты наши и пророки
Дорожной палкой на песке
Упрямо выводили строки.
Недолговечные слова,
Косноязычное томленье,—
Маститым критиком едва
Отмеченное выступленье.

18

Изгнание. Мир без прикрас,
Не искаженный именами,
Здесь каждый локоть тычет в нас
И окрик следует за нами.
Но иногда, из-за угла,
Мы отмечали влажным взглядом:
Вот тень Овидия прошла,
Вот Данте приютился рядом.
Давным-давно открытый путь,
Дорога трудная свободы,—
Равенны праздничная муть,
Дуная пасмурные воды.
На перекрестке двух эпох
Шаги, плывущие куда-то,—
В бессмертье изгнанного брата
Рукопожатье или вздох.

19

Мы умирали не старея
На европейских мостовых,
В лазурной гавани Пирея,
В парижских улочках кривых.
И лежа на спине глядели,
Не отводя хрустальных глаз,
Как звезды синие редели,
Как догорал зеленый газ.
Мы дружбу с небом заводили,
Чтоб быть подальше от земли,
Мы уходили, уходили
И, кажется, уже пришли.
Коперника и Птолемея
С печальным вздохом отмели,—
Мы отплываем от земли
К большим туманам Эмпирея,
К садам в космической пыли.

20

Прощайте, ротмистр. Вы, бывало,
Внезапно изменясь в лице,
Любили мчаться где попало
На сумасшедшем жеребце.
Вы не вернетесь. У киоска,
Жуя табачные усы,
В плаще, заношенном до лоска,
Вы молча сверили часы.
А время, сроки нарушая,
Бежит как горная река,
И кажется — рука большая
С водой смешала облака.
И кажется — в стремнине громкой,
Ломая в щепы тарантас,
Шальная лошадь иль Пегас,
Полуудавленный постромкой,
Глядит насмешливо на нас.

СЕРГЕЙ ЩУКИН

Открывая рубрику «Российские меценаты», «Огонек» хочет напомнить читателям имена тех, кто сберег и приумножил славу отечественного и мирового художества. Рубрику ведет искусствовед Наталия СЕМЕНОВА.

И ведь все эти русские мужики Алексеевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины — какие все это козыри в игре нации.

Федор ШАЛЯПИН.

Каких-нибудь сто лет назад, когда именитых москвичей в городе знали по имени-отчеству, не зазорно было помянуть достопочтенную фамилию Третьяковых или Бахрушиных просто так, не уточняя, о каком из братьев, собственно говоря, идет речь. Обычаи прошлого забылись быстро — вместе с населявшими его людьми. Потому, наверное, когда очередной автор, заводя разговор о былой благотворительности и меценатстве, по инерции расточает похвалы неким «Щукиным — Морозовым», это воспринимается как устоявшееся словосочетание, но не больше. Какие Морозовы имеются в виду: Тимофеевичи, Викуловичи, Абрамовичи; все ли семейные кланы многочисленной морозовской династии разом — понять сложно. Впрочем, со Щукиным дело обстоит тоже не столь просто, как кажется на первый взгляд.

Купеческая фамилия Щукиных считалась в Москве на рубеже веков одной из наиболее уважаемых. Кто не знал создателя Музея русской старины Петра Ивановича, жившего в сказочном краснокирпичном тереме, крытом зеленой поливной черепицей! В Щукинском музее в Грузинах хранились драгоценные памятники отечественной культуры — старинное оружие, ключи, часы, самовары, веера, ордена, медали, древние рукописи, архивы знатнейших дворянских фамилий и еще многое, многое другое. На Арбате в Староконюшенном обитал неутомимый собиратель старой живописи — застенчивый Дмитрий Иванович, время от времени даривший картины обожаемых им малых голландцев Румянцевскому музею. Самый младший из Щукиных, Иван Иванович, тоже пользовался известностью, но не в Москве, а в Париже, где безвыездно жил с 90-х годов, тратя отцовское наследство на книги, картины и путешествия. В его роскошной парижской квартире на авеню Ваграм в распоряжение русской колонии предоставлялась уникальная библиотека редчайших изданий по истории русской философии и религиозной мысли, собранная «русским парижанином», профессором Вольного университета в Брюсселе и Школы восточных языков в Париже, талантливым ученым и любителем изящного Иваном Щукиным. На «Щукинских вторниках», неотличимых от собраний в московских и петербургских кружках, встречались П. Д. Боборыкин и А. С. Суворин, А. П. Чехов и Д. С. Мережковский, М. А. Волошин и К. Д. Бальмонт, И. Э. Грабарь, А. Н. Бенуа и проводивший там почти каждый вечер польский историк К. Валишевский.

Однако главной знаменитостью в семействе Щукиных все-таки считался Сергей Иванович. Единственный из братьев, он пошел по стопам родителя и возглавил основанную отцом фирму «И. В. Щукин и сыновья». Иван Васильевич Щукин, потомок первых Щукиных, приехавших в первопрестольную торговать мануфактурным товаром из древнего Боровска в царствование Екатерины II, стал одним из «самых гениальных торгово-промышленных деятелей пореформенной России». Сергей Иванович шагнул по купеческой лестнице сразу после смерти отца. Получив в 1894 году от министра финансов «за полезную деятельность на поприще отечественной торговли и промышленности» звание коммерции советника, «товарищ старшины Московского купеческого сословия Сергей Щукин» оказался в числе «воротил» торгового и финансового мира Москвы. Скоро фирма «И. В. Щукин и сыновья» лидировала среди скупщиков хлопчатобумажных и шерстяных товаров, контролируя конъюнктуру и ассортимент мануфактурных фабрик Москвы и губернии.

Бурная энергия и особые способности Щукина-коммерсанта неожиданно нашли еще один достойный выход: Сергей Иванович стал собирать современную французскую живопись. После покупки в 1897 году картины Клода Моне «Аржантейская сирень» (первого из попавших в Россию полотна художников-импрессионистов) Сергей Щукин начал создавать коллекцию новой живописи, которую в 1903 году с полным правом стали именовать в Москве галереей.

Можно ли было предположить, что память о Сергее Ивановиче Щукине удастся уничтожить так быстро?! В десятых годах его дом притягивал многих. Туда стремились попасть все, кто интересовался ходом развития современного искусства, и в первую очередь, конечно, молодежь. Куда обычно ходили? В Третьяковскую галерею, в Румянцевский музей (главным образом в библиотеку). Музей изящных искусств открылся только в 1912 году, его слепки, тонированный под мрамор мертвый гипс оставались прекрасными учебными пособиями, но не более того. А вот зайти в галерею новой французской живописи, к Щукину, куда по воскресеньям хозяин пускал всех желающих, посмотреть «тропические переживания» Поля Гогена, исступленную живопись Винсента Ван Гога, растворяющиеся в красочном мираже стога и соборы Клода Моне, звучные красочные натюрморты добившегося упрощения пластических форм Анри Матисса, расчленивщего зримый мир на кубы и объемы Пабло Пикассо, было необычайно заманчиво.

К Щукину ходили запросто, в перерывах между кафе и Художественным театром, которым тогда бредила молодежь. Сюда отправлялись смотреть «отъявленных декадентов» маститые реалисты Василий Суриков и Михаил Нестеров, шумные, задиристые «Бубновые валеты», эпатировавшие буржуа своими немыслимыми одеяниями и полотнами не меньше, чем седой, но по-юношески темпераментный хозяин дома. В уютный особняк в Большом Знаменском, близ Арбата, приходили столичные аристократы и вчерашние провинциалы, мечтавшие покорить Москву, искавшие и не знавшие, как молодой Александр Вертинский, чем занять себя. Многие называли Щукина сумасшедшим. Илья Репин, однажды увидев картины Матисса, в ужасе бежал из галереи и больше сюда не возвращался. Профессора Училища живописи, видя, как воспитанники художественных школ застывали подобно «эскимосам, впервые увидевшим патефон», перед холстами Сезанна, Дерена и Таможенника Руссо, говорили, что от Щукина, из Знаменского, идет зараза. У Щукина можно было встретить тех, кого интересовало все новое, чем жил художественный мир Европы, и в первую голову «Мекка нового искусства» — Париж накануне первой мировой войны.

Сергей Иванович исчез из города тихо и незаметно. Это произошло летом 1918 года, еще до того, как В. И. Ленин подписал 10 декабря декрет № 81 о национализации щукинской галереи — первой в череде крупнейших московских художественных собраний. С. И. Щукин покинул город налегке. Никаких ценных вещей, не говоря уже о картинах из особняка-музея, он не взял. Последней в 1922 году покинула Москву старшая дочь Щукина, Екатерина, водившая экскурсии по музею отца. Она воспользовалась заграничным происхождением своего мужа, потомка прибалтийских аристократов, и беспрепятственно перебралась в Европу, ставшую отнюдь не обетованной землей для нее и ее многочисленного семейства.

В Советской России о прошлых заслугах было небезопасно напоминать, тем более если речь шла об эмигрантах. Считалось излишним уточнять, что щукинская галерея была завещана Москве задолго до превращения ее во всенародную собственность и так или иначе стала бы национальным достоянием. С дома сняли неброскую вывеску «Щукинская галерея новой западной живописи». Затем убрали и саму галерею. В 1928 году ее перевезли в особняк И. А. Морозова на Пречистенку, нынешнюю Кропоткинскую. Там оба собрания слили, смешав в одно, так что непросвещенному зрителю не под силу было определить, что купил Сергей Иванович, а что — осторожный, разборчивый Иван Абрамович. Эти подробности показались новым хозяевам столь незначительной деталью, что имена собирателей решили в этикетках не указывать. В первых каталогах коллекции заглавные буквы «М» и «Щ» еще фигурировали, но недолго. Скоро они исчезли, а в 1948 году Музей нового западного искусства закрылся навсегда.

Переброшенный после войны в Совет Министров СССР курировать культуру К. Е. Ворошилов был направлен осматривать музей перед приведением в исполнение вынесенного ГМНЗИ смертного приговора. «Первого красного офицера» сопровождал страстно ненавидевший музей президент Академии художеств Александр Герасимов (не путать с известным пейзажистом Сергеем Герасимовым). После того как под приказом о ликвидации музея появилась подпись первого лица государства, Герасимов, как уверяют очевидцы, произнес следующую сакраментальную фразу: «Если кто осмелится выставить Пикассо, я его повешу». К счастью Сергея Ивановича, до этих печальных пор ему дожить не пришлось.

Щукинское семейство, заброшенное первой волной эмиграции во Францию, было осведомлено о перипетиях, происходивших со знаменитым собранием, очень приблизительно.

Внук Сергея Ивановича, с которым мы долго ходили вокруг щукинского дома, родился и вырос во Франции. Он носит труднопроизносимую фамилию и отнюдь не российское имя. Но фамильные щукинские черты, знакомые нам по старым фотографиям, чувствуются во всем его облике. Андре-Марк Делок-Фурко прекрасно владеет языком своих предков. Лишь некоторые языковые (как, впрочем, и бытовые) реалии советской действительности вызывают у него затруднения. Не так просто оказалось объяснить ему причину, по которой молодой военный с отнюдь не бутафорским ружьем наперевес не позволил нам (третьей была заведующая архивом ГМИИ имени А. С. Пушкина Александра Андреевна Демская, четверть века по крохам собирающая историю щукинского рода) пе-

реступить порог дома, чтобы хоть одним глазком взглянуть на знаменитую лестницу особняка в Знаменском. Ту самую, что «ошарашивала» висевшими на ней огромными матиссовскими сине-зелено-красными панно «Танец» и «Музыка». Они прибыли в Москву в декабре 1910 года. А через год по парадной лестнице поднялся сам автор Анри Матисс, уговоривший хозяина перевесить свои картины в просторную, светлую гостиную, превратившуюся, говоря словами критика, в «оранжерею и апофеоз матиссовской живописи».

Что скрывать, попасть в дом, где висели когда-то 37 полотен Матисса и 51 Пикассо, нам очень хотелось. Пусть его изуродовали позднейшие пристройки, пусть нет барочной лепнины XVIII века, а живописные плафоны потолка смыты или зашиты древесностружечными панелями. «Наверняка и лестница совсем не та, что была тогда»,— уговаривала я Андре-Марка, надеясь своим предположением утешить всех нас. И улицы Знаменки нет. Она переименована в улицу Фрунзе, на которой царит необъятных размеров здание военного ведомства, ласково иногда называемое москвичами «Пентагоном». В его недрах растворился старинный Апраксинский дворец, переданный Александровскому военному училищу, располагавшемуся точно напротив щукинского особняка. Нет и церкви Знамения Пресвятой Богородицы XVII века, в которой крестили, венчали и отпевали почти всех Щукиных, поселившихся в начале 90-х годов в бывшем дворце князей Трубецких. Большого Знаменского переулка, по которому числилось владение, тоже нет. Вернее, сам переулок есть, но он переименован в улицу Грицевец, названную в честь сражавшегося в небе Испании героя-летчика. Спустя полвека кому-то бросилась в глаза грамматическая ошибка (как известно, по русской орфографии мужские фамилии склоняются) и улицу переделали в Грицевецкую.

На улице Грицевецкой, как и сто лет назад, стоит «этот типичный двухэтажный, вовсе не нарядный, но уютный особняк» — все выглядит точно так, как описывал Александр Бенуа. Только герб Трубецких на фасаде прикрыт Гербом СССР. Нет, правда, сада с высокими столетними деревьями, да кустов дивной персидской сирени, и дом, где любили бывать москвичи, куда ехали из Франции, Германии и холодной Норвегии, давно плотно окружен стаей черных «Волг»...

Ночью 3 января 1907 года, потрясенный смертью горячо любимой жены Лидии Григорьевны, Сергей Иванович Щукин составил завещание, по которому собранная им коллекция французской живописи отказывалась городу. Позднее, по воле владельца, его собрание должно было быть передано Третьяковской галерее. Ему предстояло дополнить, а точнее, продолжить иностранную часть музея — два зала, в которых помещалась коллекция западной живописи Сергея Михайловича Третьякова, младшего брата создателя национальной галереи картин русских художников.

Сведения о намерении Сергея Ивановича сделать свое собрание общественным достоянием просочились в печать только спустя полтора года. О решении владельца как бы между прочим сообщил блестящий историк искусства Павел Муратов — автор первой серьезной публикации о щукинской галерее. Коллекционер не был склонен поднимать шум вокруг своего благородного поступка, тем более что у него был достойный пример для подражания — Павел Михайлович Третьяков, который уехал из города, чтобы не присутствовать на торжествах, устроенных по случаю дарования его галереи Москве.

Сергей Иванович Щукин скончался в Париже 10 января 1936 года. На его кончину откликнулись эмигрантские газеты, а на родине о ней даже не знали. Потому, наверное, год его смерти путают у нас до сих пор даже в солидных изданиях. Сергея Ивановича похоронили на кладбище на Монмартре, рядом с братом Иваном, покончившим с собой зимой 1908 года. Могилы остальных братьев, родителей и близких родственников исчезли вместе с кладбищем Покровского монастыря, где находился фамильный склеп Щукиных. На его месте согласно плану превращения Москвы в столицу первого в мире социалистического государства разбили очередной зеленый сквер.

Постепенная реабилитация щукинского собрания (но все еще не самого коллекционера) началась с хрущевской оттепели. Ликвидированный в 1948 году в разгар кампании по борьбе с космополитизмом Музей нового западного искусства тогда же разделили между собой Москва и Ленинград. Причем Эрмитаж благодаря его тогдашнему директору И. А. Орбели забрал все, что консервативные московские эксперты-искусствоведы сочли чересчур авангардным — кубистического Пикассо, панно Матисса, холсты Дерена. В итоге Москва лишилась своих главных художественных сокровищ — западного искусства нового времени, того, чем «ни с кем и ни при каких условиях не должна была делиться» (так писали опытные музейщики еще в 1920 году).

Шло время. Щукинские картины, начав с наиболее умеренных и благопристойных (как казалось руководителям культуры тех лет) — импрессионистов,— стали вынимать из запасников. Четыре десятилетия спустя после того, как картины покинули стены парижских мастерских и салонов, полотна стали вывозить в Европу. Железный занавес робко приоткрывался, отношения между Востоком и Западом налаживались. Но первые путешествия картин закончились громким скандалом. Младшая дочь Сергея Ивановича Щукина, графиня Ирина Келлер, заявила как законная наследница права на собрание отца. Картины были сняты с выставки Пикассо в Париже и спешно отправлены в СССР. Инцидент произвел сильное впечатление на советских устроителей, долго потом не решавшихся давать картины на зарубежные экспозиции. Однако скоро эти прискорбные случаи забылись, наследники прекратили заявлять о себе, и началось триумфальное шествие из страны в страну, с континента на континент картин из советских музеев, собранных в начале века купеческо-коллекционерским тандемом «Щукин — Морозов».

Западные журналы стали помещать очерки о русских коллекционерах и меценатах, цитировать слова Николая Бердяева о том, что в начале века коллекционирование произведений искусства и филантропия, так же как искусство, литература, философия, социальная и политическая мысль, способствовали культурному возрождению России. На родине собирателей первые публикации о них появились лишь через десятилетия. Наконец-то русское купечество прекратили обвинять в реакционности, а, наоборот, нашли в его деяниях исключительную прогрессивность. Выяснилось, что купеческое сословие, преодолевая укоренившееся веками в русской душе сознание неправды денег, как писала М. Цветаева, тратило колоссальные средства на благотворительность, вкладывало сотни тысяч в больницы, театры, библиотеки, музеи.

К сожалению, прозрение пришло с опозданием. Ураган тотального обновления, пронесшийся по Советской стране, уничтожил практически всякое упоминание о вкладе, сделанном Щукиным в отечественную науку и культуру. Огромная коллекция русских древностей умершего в 1912 году Петра Щукина потонула в необъятных фондах Исторического музея, которому была пожертвована еще в 1905 году. Дом на Малой Грузинской, завещанный вместе с землей Историческому музею, у последнего отобрали и передали Биологическому музею, основанному при кафедре биологии Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. В 1922 году ему присвоили имя К. А. Тимирязева и по сию пору пропагандируют в отделанных в древнерусском стиле залах «биологические и атеистические знания», а также устраивают выставки кактусов.

Музей старой живописи Дмитрия Щукина, превращенный в один из филиалов Румянцевского музея, слили с Музеем изящных искусств, а его бывший владелец умер — ослепший и одинокий — в комнатушке одной из тесных московских коммуналок в 1932 году. Исчезли любые упоминания о том, что Сергей Щукин пожертвовал на строительство и оборудование крупнейшего по тем временам в Европе Психологического института 120 тысяч, что он был основан в память Л. Г. Щукиной и носил ее имя.

Возвращая долги оклеветанным, незаслуженно забытым и униженным, наше общество пробует очиститься, сбросить невероятный груз вины перед теми, кому пришлось страдать из-за неподходящего происхождения, имени, родства или пункта в анкете. Вынужденные десятилетиями скрывать свою родословную сегодня могут рассказывать о предках, гордиться принадлежностью к дворянскому или купеческому роду. Этим соблазнились и те, кто еще совсем недавно рьяно отстаивал собственное пролетарское происхождение. Поддавшись модному поветрию, начинающий московский коллекционер, волею судьбы оказавшийся однофамильцем знаменитого собирателя, поведал иностранным корреспондентам, что он внук С. И. Щукина. Отсюда, мол, и фамильная художественная интуиция, гарантирующая его «Русской коллекции», состоящей из произведений современных советских художников, всемирное признание.

Андре-Марк Делок-Фурко не удивился тому, что у него вдруг появился новый кузен. Каждый приезд в Советский Союз ему приходится встречать очередных претендентов в близкие и дальние родственники: фамилия ведь распространеннейшая. Но Щукина-коллекционера он встречает впервые.

«У моего прадеда Ивана Васильевича Щукина была большая семья — шестеро сыновей и четыре дочери. Все Щукины, я имею в виду потомков Сергея Ивановича, поскольку у остальных братьев детей не было, после революции оказались за границей. К сожалению, фамилию Щукин сегодня не носит никто. Последний ее обладатель, старший из трех сыновей Сергея Ивановича (Сергей и Григорий покончили с собой совсем молодыми), Иван Сергеевич Щукин, специалист по персидскому искусству, проведший большую часть жизни в Ливане, погиб в 1976 году во взорванном над Бейрутом самолете. Мои братья, сестры, племянники (у моей тетки Екатерины Сергеевны было шестеро детей) живут во Франции и Америке. У всех потомков С. И. Щукина есть одна общая черта: **теперь в нашем роду вы не найдете ни одного собирателя.** По-моему, и без лишних объяснений понятно, что после Сергея Щукина — величайшего коллекционера XX века — собирать просто невозможно. Хотя в семье подобного запрета не было, каждый из нас прекрасно понимал, что лучше попытаться проявить себя столь же успешно в других областях, не пользоваться не нами заработанной славой. Поэтому я хотел бы во избежание появления, как любят говорить у вас, новых «детей лейтенанта Шмидта» заявить: **настоящие Щукины не собирают.**

Раз уж мне представился случай давать интервью столь популярному журналу, как «Огонек», я хотел бы сказать о том, что волнует меня больше всего. Когда несколько лет назад я впервые приехал в Россию, чтобы побывать в Москве, где родилась моя мать, и в Петербурге — Ленинграде, где еще в прошлом веке родился мой отец, я не сомневался, что моего деда здесь помнят и чтят. Мне по незнанию сначала показалось, что и станция метро «Щукинская» названа советскими властями в честь Сергея Ивановича. Но скоро я многое понял и увидел. Ни в Эрмитаже, ни в Пушкинском музее я не обнаружил на картинах ни одной этикетки, указывающей, что их собрал С. И. Щукин. Но куда обиднее была встреча с военным, преградившим вход в дом, где раньше жила наша семья. Поверьте, меня это задело не как бывшего владельца или несостоявшегося наследника. Куда обиднее сознавать, что любой человек, не важно — русский, француз или японец, не имеет права войти в дом, считавшийся в начале века одним из интереснейших музеев Москвы.

Сергей Иванович завещал коллекцию городу. В последние годы он жил в Знаменском, полностью превратив свой дом в музей. И в эмиграции, когда его спрашивали о коллекции, оставшейся «под большевиками», он всегда отвечал, что собирал «не только и не столько для себя», а для своей страны и своего народа. «Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там».

Я пытаюсь найти ответ на мучающий меня вопрос: почему помещики, капиталисты, те, кого у вас принято было называть эксплуататорами, открывали принадлежавшие им дворцы народу, а новая власть — наоборот?

Я уважаю подвиги Красной Армии, но мне жаль, что для входа в щукинский особняк необходим пропуск, а подписать его должно лицо не ниже чем в ранге заместителя министра обороны СССР. Наверное, не мне одному приходит в голову мысль, что нужно, просто необходимо открыть этот дом для всех москвичей, а черные «Волги» и военную охрану перенести в положенное им место: два грандиозных сооружения армейского ведомства располагаются всего в нескольких метрах от особняка. Говорить об этом, требовать принятия решений от демократического руководства Москвы гораздо важнее и нужнее, чем рассуждать о ежегодно появляющихся все новых и новых наших «родственниках». Что же касается владельца «Русской коллекции» — нашего однофамильца Николая Щукина, то я желаю ему успехов в собирательстве: коллекционирование — прекрасное и благородное занятие».

Первого октября в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Матисс в Марокко». После триумфа в Вашингтоне и Нью-Йорке картины прибыли в Москву. Особый блеск выставке придали шесть великолепных полотен, когда-то украшавших Щукинский особняк.

Время утвердило за Матиссом славу великого художника XX века. Известность Сергея Ивановича Щукина, бывшего для Матисса «идеальным патроном», гораздо скромнее. Но без его имени история искусства нового времени была бы неполной.



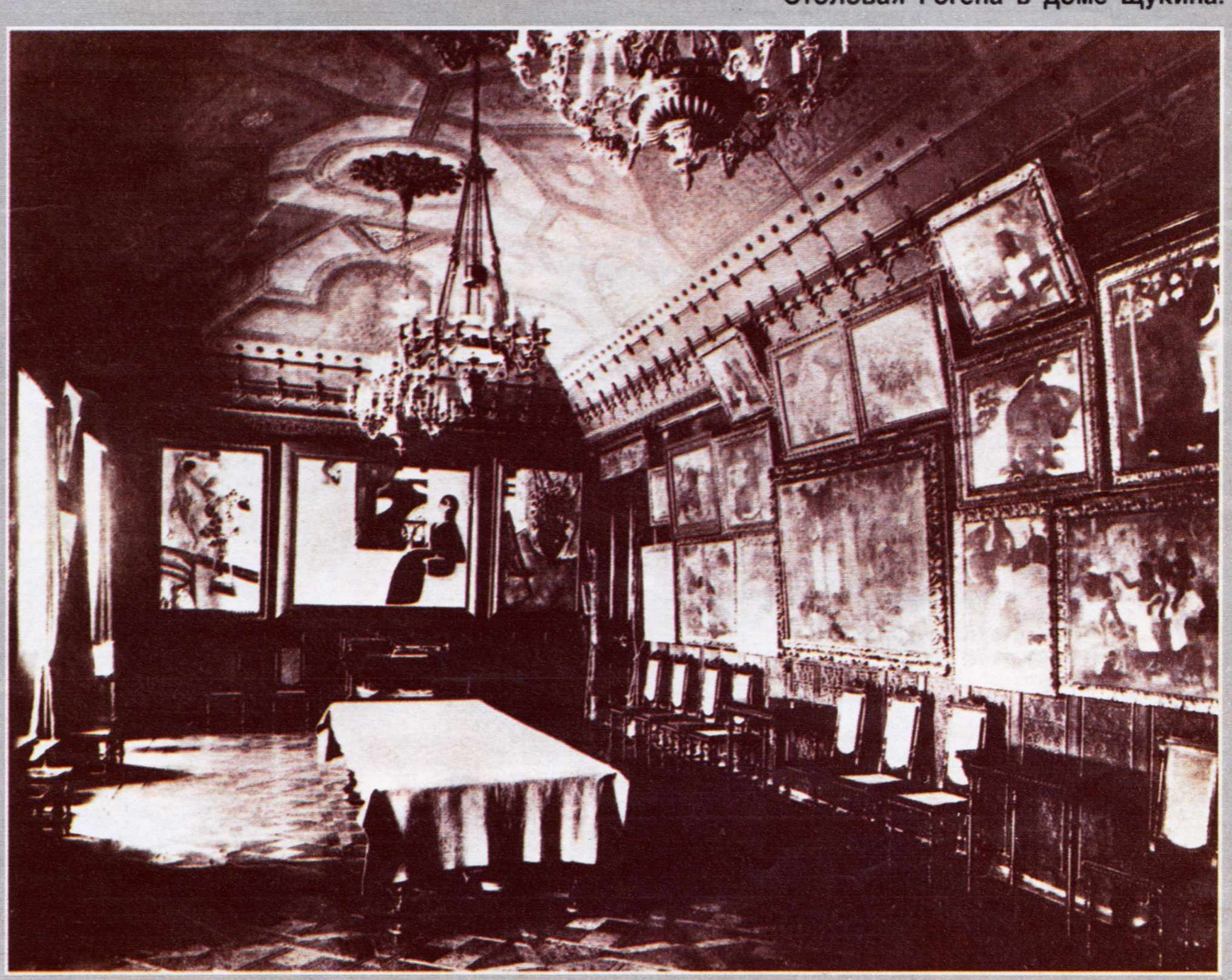
Сергей Иванович Щукин. 1854—1936.

Семья Щукиных на даче.
В центре: братья Щукины — Петр, Сергей, Дмитрий.



Дом С. И. Щукина в Москве
(Большой Знаменский переулок,
ныне — улица Грицевецкая).

Столовая Гогена в доме Щукина.



Анри Матисс. «Каллы, ирисы и мимоза».
1913. Коллекция С. И. Щукина.





Анри Руссо. «В тропическом лесу». 1908 (?). Коллекция С. И. Щукина.

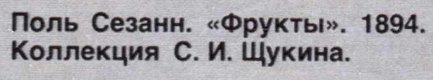


Пабло Пикассо. «Скрипка и гитара». 1913. Коллекция С. И. Щукина.

Дом на улице Вильгельма в Париже, где жил С. И. Щукин.

Гостиная Матисса в доме Щукина.




Поль Сезанн. «Фрукты». 1894.
Коллекция С. И. Щукина.



Могила С. И. Щукина
на кладбище Монмартр. Париж.

ОГОНЁК







Нина ЧУГУНОВА

Марк ШТЕЙНБОК (фото)

ЧТО ТАМ, ЗА ПОЛОГОМ ПАЛАТКИ?

История семьи Янок похожа на бред. Вот как ее рассказывает Игорь Янок, бывший прапорщик, прошедший Афганистан в составе штурмовой роты с 79-го по 85-й (Саланг, Кандагар, Паншер).

Его жена Зоя работала в детском саду для сирот. После того как она вступила в конфликт с администрацией, из сада был похищен ее собственный ребенок, саму же Зою схватили, увезли в больницу, сделали два неизвестных укола, сломали руку. Женщина превратилась в инвалида. Муж, забрав ее из больницы, отчаянно пытался добиться справедливости, что-либо узнать о судьбе дочери... (их третьему ребенку было два месяца, когда они бросились в Москву).

Изаура Янок начала ходить здесь, под окнами гостиницы «Россия». Вот-вот начнется ее вторая зима в жизни — и вторая московская. Она уже сейчас бегает в шубке и в валенках на резиновой подошве. Ее знают и любят — так любят детей в общежитиях, когда дети у всех под ногами, и главное, чтобы они не расшиблись, упав, не выскочили под колеса. (Старшая дочь взрослая, она учится в другом городе, за нее спокойны.)

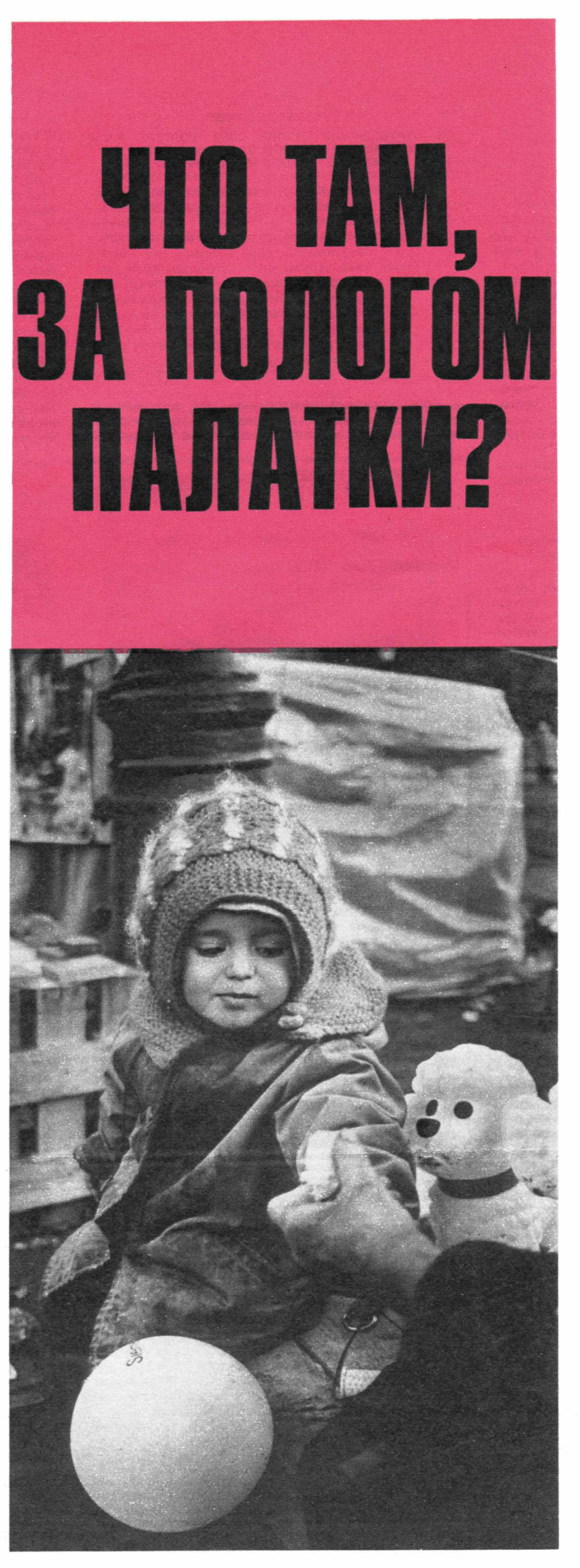
Летом наш фотокорреспондент видел, как Игорь на обочине поляны, где разбит «палаточный городок» (скорее, совокупность конур), чистил рыбу, говоря: "Зоя, убери ребенка, она вертится под ножом",— и сцена поразила фотографа своей будничностью.

— Зоя, покажи руку,— говорит Игорь, если мимо проходящие спрашивают его, зачем их семья поселилась здесь.

Зоя показывает руку. Об Изауре она говорит, как бы извиняясь: «Без нее было бы тоскливо».

Они устроились, можно сказать, хорошо. У них есть настоящая большая палатка. У других — коробки, сколоченные из кусков фанеры, обитые полиэтиленом для тепла. Они устроили свой быт: стирать, например, приходится часто, и Игорь приспособился стирать в холодной воде в ведре. После стирки воду выносит подальше и выплескивает. При таком скоплении народа (летом было примерно в два раза больше) поляна не выглядит мусорной свалкой. За покупками, как правило, отправляются группой, «когда есть деньги». Чаще всего идут в военторг. «Визитных карточек покупателя» у них, разумеется, нет. У них есть письмо за номером ПЗПГ-42/90 от 15 июля 1990 г., в котором Постоянная комиссия по законности, правопорядку и правам граждан просит директоров московских гостиниц размещать жителей палаточного городка на ночь в холлах «при невозможности предоставить номера в гостинице».

«Жителей» не пускают на порог «России», даже в туалет, даже умыть ребенка. В списке «граждан, отстаивающих свои права», подготовленном комиссией, Игорь и Зоя (пометка: «с ребенком») идут под номерами 40 и 41. Так что их пребывание на поляне, уставленной почти собачьими конурами, вполне официально. Любой вновь прибывший, рассказал нам Игорь, должен будет пройти довольно серьезную процедуру своего



узаконивания. Его документы рассмотрят, потом в случае положительного решения Моссовет позволит сесть здесь, при дороге. Слишком много людей решают простой вопрос...

— Нас разгоняли дважды с милицией,— говорит Игорь.

А как же устраиваются люди в ожидании положительного решения насчет предоставления места под этими сияющими окнами?

Оказывается, ночуют по вокзалам. Игорь говорит, что изменения к лучшему начались с прихода к власти нового руководства Моссовета, и называет имя Виктора Александровича Кузина.

Зоя сидит на краю поляны, смотрит на проходящих мимо и улыбается виновато. Иногда прохожие останавливаются. Время от времени кто-то обязательно говорит:

— Работать надо, а не сидеть здесь с ребенком!

Зоя улыбается, и тогда заметно, что у нее выпали почти все зубы. А она еще молодая. Или говорят:

— Почему вы не отстаиваете свои права по месту своего жительства?

Я заметила, что особенную охоту высказаться имеют солидные пьяненькие дядьки, видом снабженцы. Один раз проходили две девушки, идущие в «Россию». Они сказали: за наши права никто не борется.

Действительно, почему Игорь Янок не продолжает добиваться правды и разыскивать среднюю дочь в своем городе Купянске Харьковской области, а вторую зиму сидит или, вернее, стоит здесь перед нами?

И почему остальные, на чьих самодельных палатках описаны крупными буквами истории насилия, грабежа, изгнания, убийств и издевательств с перечислением фамилий виновников и убийц и с приложением фотографий жертв,— почему они не сидят по своим местам?

Мой друг, португальский журналист, сын коммуниста и бывший воспитанник Ивановского интердома, шел здесь с женой, и жена сказала: «Посмотрим, там вернисаж». «Нет»,— сказал он, сразу почувствовав что-то иное в этой картине, так напоминающей вернисаж где-нибудь в Измайловском. Потом они оба пытались найти слово, определяющее дух всего этого. И нашли: «вырождение».

Комиссия Верховного Совета СССР по рассмотрению дел граждан, устроившихся перед «Россией» (Игорь говорит: «Здесь собралась вся страна, есть и литовцы»), приступила к своей работе. Вызвали и Игоря, предлагали «оценить свой поступок критически», находили в его пребывании здесь элемент провокации... Теперь он говорит, будем здесь сидеть до смерти.

Весной надо было уже крестить Изауру. Поехали в Загорск. Батюшка будто бы сначала не хотел, что ли. Но Изаура ухватилась за наперсный крест. Батюшка окрестил. 26 февраля был день равноапостольной Нины. Он нарек Изауру Ниной. Она смеялась и не хотела выходить из купели. Игорь сказал: батюшка дал нам свое благословение, Нина ни разу не заболела...

Михаил ЛЮБИМОВ



И АД СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ

РОМАН

Дома я углубился в целую папку ума холодных наблюдений и сердца горестных замет беглеца Юджина.

«Лет двадцать тому назад в районе Филадельфии обнаружили вид горошка, который стелется по обочинам дорог на тысячи километров. Он выбирает канавы, рытвины, глину, гравий и осколки камней, он образует своего рода зеленую плоть, сквозь которую не может пробиться даже трава. Он сам создает для себя почву для зимней спячки и — о чудо!— не только делает изуродованную землю зеленой, но и спасает ее от эрозии и украшает сгнившую листву удивительными бледно-лиловыми цветами.

Многие пророки утверждают, что западная цивилизация подошла к концу и катится в пропасть. Футурологи предупреждают американцев о росте монополий, безличностного образования, военно-промышленного комплекса, индивидуалистического нигилизма, бессмысленного насилия, о перегруженной психике и падших нравах. Всем нам нужен новый пласт, новый слой ценностей, который, как горошек, затянет все шрамы земли. Точно в такое же раздираемое противоречиями время Святой Павел сказал жителям Колосса: «Все собрано во Христе». В дни сверхобразованности и отсутствия мудрости кто из нас решится утверждать, что **одна** идея о Боге и человеке, **один** опыт народов, уходящий корнями в историю, может связать вместе, спасти, собрать воедино на попавшей под угрозу территории? Иисус Христос всегда один и тот же вчера, сегодня и завтра (Ветхий Завет, 13:8). Он будет стабильностью нашего времени (Исайя, 33:6)».

Прочитал я это с интересом, я уважаю людей верующих и сам верю, хотя толком не знаю своего Бога. Не знаю, но верю, что Он существует и печется обо мне и о всех людях. Ах, Юджин, мой альтер эго, двойник мой, мой образ печальный. Неужели с самого начала он мне не врал? Неужели он не предатель, а просто беглец?

Дальше было еще забавнее:

Когда ты высишься достойно
Среди нечитаных газет,
Простой, возвышенный, довольный,
К народу близкий с детских лет.
Когда я вижу эту муть,
Когда я чую этот запах,
Мне представляется внезапно
Абстрактной живописи суть.
Твой честный нос стянуть до пят,
Твой череп расколоть на части
И вместо лба поставить зад...
О Бог, какое это счастье!

И дальше:

«...если бы он не увидел случайно этот томик Исаича, все могло бы сложиться по-другому, и моя жизнь не покатилась бы кувырком. Но поздно уже, я оказался в болоте: коготок увяз — всей птичке пропасть!»

«...и страна дураков казалась землею обетованной. Разорвать бы мне путы, тогда еще не такие прочные, и начать жизнь простого и честного человека, зарабатывающего на хлеб не воровством, освященным государством, а достойным трудом».

И снова стих:

Так кто же однажды посмеет
Прорвать заколдованный круг?
И пальцы распялив на стенах,
Чертог почерневший качнуть?

«...Он крепко держал меня в руках и знал, что я не пикну. Все началось с небольшого одолжения: посмотреть, сядет ли на скамейку около театра человек в серой шляпе типа «Генри Стэнли». Ждать от семи до семи пятнадцати вечера. Естественно, на скамейку никто не сел. Это больше, чем убийца, это Каин».

Все эти темы, словно наваждение, то налетали, то отступали, но пронизывали насквозь, словно шилом пропирали, все сорок листов рукописного текста, написанного в разное время и явно еще в Мекленбурге.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—44.

Глава девятая

ОБ ОТРУБЛЕННОЙ ГОЛОВЕ СЭРА УОЛТЕРА РЭЛИ И О ТЫСЯЧЕ И ОДНОМ СПОСОБЕ БЕГСТВА ИЗ СЧАСТЛИВОГО МЕКЛЕНБУРГА

«Одна из неприятных сторон тюремной жизни — крысы. Социал-демократы в камере для борьбы с ними создали дружину, которую возглавлял Яков Михайлович Свердлов. Дружинники хватали крыс, кидали их в парашу, чтобы они там утонули, сапогами отталкивали крыс от краев, не давая им вылезти, и при этом от души смеялись. Другим развлечением дружинников было повешение крыс».

Из газет.

Чрез суетливый малохольный Сити, запруженный котелками и зонтами, решающими на ходу глобальные проблемы, we followed our noses[1] в грузный Тауэр, запертый в серый камень, отбитый от прославленных скал Альбиона, будоражащих путешественников вокруг света при подходе фрегата к порту Дувр.

Тауэр, как ни странно, я ни разу не визитировал, несмотря на изобилие вековых трупов, тлеющих в его подземельях, не тянуло меня сюда раньше, обходился я вполне традиционными кладбищами, соединяющими в единой гармонии желтые листья, желуди, пряную затхлость, тусклое солнце, еле сквозящее из тьмы ветвей, кресты и плиты, плиты и кресты.

И правильно я делал, что не спешил в этот туристский бедлам: одиозная крепость со стенами, изгаженными жирными воронами, которые за долгие века одурели от выклевывания глаз у трупов и тупо вертели клювами, испачканными человеческой кровью.

Мы прилепились к туристской группе с гидом (вертлявая коза с худыми ляжками, вызывающая ностальгию по крупнотелым матронам Рубенса), и полились душераздирающие истории о жизни английских королей, и я сверял все эти страсти со своей нескучной биографией и ужасался: что жизнь твоя, Алекс, не мучная ли патока? Что твои мелкие измены и элегантные запои? Что вранье, коварство и жестокости твои в сравнении с буднями королей и баронов?

Шел рассказ о каком-то рыцаре, который во время дружеского ужина заколол мечом двух своих братьев, тут же скальпировал и очистил от серого вещества их головы, а затем зачерпнул черепом прямо из бочки с мальвазией и опрокинул в глотку,— да ты просто святой, Алекс, ты ангел по сравнению с этими чудовищами, поедающими друг друга, палицами разламывающими башки, сующими в уши яд, ты просто нежный ангел, Алекс, верный муж и прекрасный отец и заслужил еще двух-трех Кэти!

И Сам, и Бритая Голова, и другие товарищи тоже, как апостолы, несут свой крест в добрейшем из добрейших государств, процветающем Мекленбурге, хотя, конечно, имеются и недочеты, и срывы, и ошибки. Но ведь не льется же рекою кровь, не летят же головы, все решается келейно и деликатно, в сумасшедших домах или на просторных восточных землях, где целебный климат и тайга, правда, комары кусают. В конце концов не пытают же каленым железом, а законным образом высылают, и не куда-нибудь, а в Париж, прямо на Монмартр, где художники, жареные лягушки и перно, разве это так уж плохо?

Генри VIII не только разорвал брачные узы с Аннушкой Болейн, но и распорядился отрубить ей голову, дочь Елизавету объявил незаконнорожденной, потом дядя подвесил на дыбу ее возлюбленного, а католичка Мэри заточила будущую королеву в Тауэр, где бедняжка бродила вот по этим булыжникам в парчовом, расшитом золотом платье и не знала, что ее звезда восходит и будет светить 45 лет. Невиданный срок для любого короля, даже в Мекленбурге, занявшем первое место в мире по запасам старческого маразма наверху, никто не правил так долго. И что ты привязался к Мекленбургу, печеночник Алекс, не знающий, куда девать свою желчь?

Люди мирно живут (главное — чтобы не было войны), трудятся, ходят на субботники. Народ доверчив и боязлив (основания имеются), все повязаны одной цепью и напуганы насмерть, все сидят с полными штанами и больше всего Самый-Самый (вдруг свергнут?).

Темноволосый, привлекательный (один пробор чего стоит!), чарующий женщин (о Черная Смерть!), сэр Уолтер Рэли метеорически взлетел к славе в 1551 году, когда швырнул свой плащ под ноги королеве Елизавете и помог ей перейти через вонючую лужу в районе деревушки Гринвич, где ныне знаменитая обсерватория. Женщины обожали его всю жизнь, а жена после его казни даже испросила королевского разрешения на хранение его отрубленной головы. Держала она голову в заспиртованном виде в спальне, недалеко от кровати... Ты слышишь,

---

[1] **Мы направили наши носы или пошли вперед — и эту идиому вдохнула в меня милая преподавательница семинарии, чудом попавшая в это богоугодное заведение. А я прерывал ее словами из Донна: «For God's sake hold your tongue and let me love» — «Ради бога, придержи язык и дай мне тебя любить».**

Римма? Что будет с головой великолепного Алекса? Сохранится ли его пробор, если ты сунешь его голову, скажем, в аквариум с рыбками? Ах, Римма, Римма, что ты делаешь сейчас там? Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Пошла к подруге? Занимаешься с Сережкой, который ленив и мечтает работать за границей? Смотришь телевизор, надев японское кимоно с драконом? Принимаешь гостей? Танцуешь? Представляю, как ты танцуешь, как вскидываешь рыжую голову и смотришь прямо в лицо, что создает впечатление необыкновенной открытости и прямоты, и подкупает, и тянет к себе...

Алик, не сравнивай себя с Рэли, это был философ, поэт, авантюрист, а ты всего лишь шпион! Слышишь, Сережка, что она говорит? Как там у Рэли? Три вещи есть, не ведающих горя, пока судьба их вместе не свела. Роща. Поросль. Подросток. Роща — в бревнах виселиц мосты. Заросли конопли — веревка для захлесток. Ну, а подросток... это я? Или ты, Сережка, платящий по крупному счету за грехи отца? Сводим три эти вещи воедино... Помнишь, Сережка, ты однажды заорал на отца: «Уходи из нашего дома, шпион!» Из нашего дома. Да, мой дом — вселенная. Ха-ха.

К 1586 году (коза чуть вихляла пчелиным задом — так увлеклась собственным рассказом) Рэли стал капитаном гвардии, обласканным почестями и землями, фаворитом королевы, bête noire[2] двора, первооткрывателем Вирджинии в Новом Свете. В 1592 году отлучен от двора за увлечение одной из фрейлин и обречен лишь на занятия математикой и поэзией... Постаревшая королева перед смертью простила ему измену, но трон занял новый король, возненавидевший Рэли и отправивший его сначала на 15 лет в Тауэр, а потом и на виселицу.

— Интересно, зачем вас приставили ко мне? — услышал я голос Юджина.

— Чтобы я вывел вас из депрессии...

— И только?

— Я никогда не вру[3].

[2] **Черный зверь, объект ненависти (франц.). Иногда таким я казался себе в кругу коллег.**

[3] **Каждый раз, когда я произносил нечто подобное, мне казалось, что разверзнется земля и полетит лжец Алекс вниз головой на пламя адского костра.**



— Без надобности,— добавил он гнусно.

— Что вы нервируете американцев?

— Я ожидал, что мне предложат политическое сотрудничество. А от меня требуют выдачи секретов. Ведь я же давал присягу...

— Вы морочите голову или серьезно так считаете? Может, вам нужна и аудиенция в Белом доме?

— А почему бы и нет? Принимал же президент некоторых диссидентов!

— Какой вы диссидент, Юджин? Вы обыкновенный шпион, который перешел на сторону противника. Давайте смотреть трезво на вещи, мы с вами в одинаковом положении. Мы предатели и перебежчики! Нас даже неудобно принимать в приличном обществе...

— Я хочу заниматься политикой...

— Прекрасно. Выдвигайте свою кандидатуру в сенат. Странный вы человек, Юджин![4] Какого черта вы ушли на Запад? Вы могли бы сделать прекрасную политическую карьеру в наших профсоюзах...

Он только хмыкнул в ответ.

— Знаете что, Алекс? Давайте выпьем по кружке пива. У меня от этого Тауэра такая тоска, словно я сам просидел тут две жизни! А эти вороны напоминают мне о помойке в нашем дворе... Они сидят над нею на деревьях и слетают вниз, когда оттуда убегают кошки. Чудесный у нас двор... голуби, детская площадка, пьяницы, играющие в домино... Впервые я так остро затосковал по дому... Смешно? Давайте выпьем!

— Но вы же войдете в штопор.

— Разве можно напиться пивом?

Я похлопал его по плечу и не стал спорить: в годы буйной юности мы надирались пивом с превеликим изобретательством; тогда еще функционировал истинно чешский павильон в парке имени Буревестника, подавали шпекачки, пили на спор, не отрываясь от стола, по десять — двенадцать кружек — я, правда, не выдерживал и семи.

Паб нашли тут же, и Юджин сразу присосался к бокалу с наслаждением доходяги, дорвавшегося наконец до живительного ключа.

— Вот вы все не верите мне, удивляетесь, почему я ушел,— шелестел он,— да если бы я рассказал вам все, что я пережил, у вас волосы встали бы дыбом![5] Вы представляете, что такое убежать из нашей страны?

Что-что, а этого я представить себе не мог при всем желании, напрягал все свои мозговые жилы, тужился, стремясь воспламенить воображение, но слабо горел фитилек, не виделось ничего, кроме заградительной колючей проволоки, электронных устройств, сторожевых будок в полоску, оскаленных штыков, рычащих овчарок; не мог я представить себе, чтобы беспрепятственно перешла наши кордоны даже кошка.

— Я чувствовал приближение опасности и знал, что рано или поздно наступит развязка. Больше всего я боялся пистолетного выстрела в упор, помните, как Руби убил Освальда? Все чудилась мне одна и та же картинка: светит солнышко, я иду по улице, жмуря глаза и надвинув на лоб шляпу, подхожу к углу дома, и вдруг оттуда выскакивает человек, сует мне в живот дуло, бухает выстрел, пальцы мои хватаются за разодранные кишки, хлещет кровь, теплые струи бегут по рукам... Еще мучило, что собьет меня грузовик. Именно грузовик. Даже стишок написал: «И где-нибудь в последний миг тебя настигнет грузовик!» Я ведь иногда пописываю. Как вам нравится такая эпитафия? «Не осуждай меня, что тут, средь остановленных минут, залег я, Музой пораженный, между желудком и погоном!» Это я себе посвятил. Тут три символа, понимаете? Муза — идеал, стремление к творчеству. Желудок — раблезианство и жизнелюбие. Погон — карьера. Что вы об этом думаете?

Он даже заглянул мне в глаза, так интересно ему было узнать, что я думаю по поводу всей этой грандиозной символики. Просто Рэли в миниатюре. Роща. Поросль. Подросток. Муза. Желудок. Погон. В обоих случаях молодцу конец, и я вспомнил, как совсем недавно крутился волчком на дороге и ускользал от надвигающегося бампера.

Эпитафиями Алекса не удивишь, самые смешные списаны с надгробий в тетрадь, вот исполню свою симфонию «Бемоль», вернусь в родные пенаты, уйду на пенсию и издам сборник эпитафий в монастырской типографии. Гриф «для служебного пользования», материалец накоплен, не напрасно великий путешественник Алекс обошел собственными тренированными ногами («Ноги у тебя раз в десять посиль-

[4] **Чистейшей воды псих!**

[5] **Представляю, что стряслось бы с моим пробором!**

нее рук,— учил дядька,— в рукопашной ты, брат, долго не выдержишь, любой середнячок, знающий приемы, ткнет тебя носом в землю, ноги — твое спасение, но нужно научиться ими точно бить, овладевай каратэ, а если видишь, что тебе каюк, то давай деру, ноги тебя выручат, особенно хорош ты на дистанции до пяти километров и, конечно, на сотке, только не беги, как на стадионе, а вихляй в разные стороны, чтобы не застрелили в спину!») все лучшие кладбища мира.

А Юджин-змей продолжал:

— Но все произошло иначе: был у меня дома большой сабантуй. Семья обычно на лето и начало осени уезжала к теще в деревню, предоставлен я был самому себе и гулял крепко, много знакомых и малознакомых перебывало тогда в моей квартире... И вот однажды после пьянки глухой ночью, когда все ушли, валяюсь я на диване в своей просторной кухне (до комнаты не дополз, да и удобно, когда рядом бутылки и закуски), сплю чугунным сном и вдруг слышу: тук! тук! тук! Напрягаюсь, а в голове обрывки фраз, певец орет что-то душераздирающее о синем крематорном дыме, духота, но сил нет подняться. Как вы это находите?

Он отпил крупный глоток из бокала и прислушался, как прожурчали потоки пива по его воспаленным кишкам. Находил я все это довольно банальным, на кухнях я не спал, слава Богу, обошлось, да и представить не мог, как это не доползти до комнаты.

— Слышу снова: тук! тук! тук! А глаза разлепить не могу, словно примерзли ресницы, руки скованы и сознание то здесь, то там, в небытии, значит. И снова: тук! тук! тук! И вдруг я почувствовал: конец! Умираю! И какая-то неведомая сила толкнула меня в спину и заставила подняться. Только приподнялся — и снова в пучину, и снова: тук! тук! тук! Призывает обратно: вернись! Стучит: вернись! На миг открыл глаза, вижу: у окна на карнизе сидит белый голубь, смотрит на меня и долбит по стеклу. И только тогда я почувствовал запах газа: две конфорки были открыты...

Бог спас меня, а зачем? Об этом я часто задумываюсь, ведь каждый человек родился не просто так, а с целью, с замыслом. Для чего он появился в этом мире? Не улыбайтесь, Алекс, никто из нас это место сам не может определить, ответить не может, это становится ясно потом... Руссо родился для «Исповеди», Каракозов — чтобы выстрелить в Александра Второго, Ньютон — ради того мига, когда на голову ему упало яблоко и как следствие — закон земного тяготения. Но я ушел в сторону...

В тот момент вполне реально дохнула мне в лицо смерть, игра велась всерьез, деться мне было некуда, знал, что даже в глухой тайге разыщут. Бежать за границу? Забиться в какой-нибудь уголок на Фиджи или дрейфовать на льдине в Антарктике до конца дней? Но как? Страна ведь закрыта наглухо, муха через границу не пролетит! Угнать самолет? Безумие. Превратиться в человека-невидимку? Не было среди знакомых Герберта Уэллса. Ожидать, когда меня снова пошлют за кордон, и там дать деру? Рискованно, ибо я уже ходил под топором, несколько раз хлопнули бы, пока я собирался. Оставалось только бежать нелегально, а именно, под чужим паспортом... Вы, Алекс, конечно, попытались бы добыть американский или английский и совершили бы ошибку: эта публика всегда на крючке, присматривают за нею серьезно. Нужна страна незаметная, дружеская, не вызывающая эмоций.

Бармен принес нам еще пару продолговатых запотевших бокалов и безмолвно поставил на стол.

— У вас нет соли? — спросил Юджин.

Ни тени удивления не скользнуло по лицу бармена: англичане считают иностранцев существами одноклеточными, но которых, увы, приходится терпеть, ибо они платят деньги за товар по законам, открытым Адамом Смитом. С тем же безучастно-холодным выражением лица он принес солонку. Юджин обмазал солью края бокала и стал с наслаждением цедить пиво.

Хорошо, что мы оба находились под крылышком властей и не нуждались в камуфляже — такие нюансы не проходят мимо внимания наблюдательной обслуги, совсем недавно чуть не загремел один резидент, который позволил себе чокаться с агентом, дернул его черт расчокаться в окраинном пабе, где сидят лишь аборигены, не привыкшие чокаться, и глазеют от нечего делать на любого пришельца,— тут же какой-то стукач позвонил в полицию: подозрительный иностранец!

Я бросил щепотку соли в пиво, со дна поднялись мутноватые пузырьки, пил я пиво таким образом еще в те ностальгические времена, когда его было вдоволь во всех киосках и шло оно хорошим «прицепом» к стакану белой (или наоборот). Даже сравнительно недавно, когда сосед по этажу Виталий Васильевич одолжил мне бутылку «редебергера», купленного в Буфете (физиономия его лопалась от жмотства), я опохмелялся им с солью, приглашая тщетно на виски соседа («Что вы, Алекс! Завтра у меня с утра совещание по урожаю, да и вообще я редко в рот беру, лишь по праздникам Революции!» — Видно, «редебергер» покупал только для Алекса из партийного альтруизма и пролетарской солидарности).

Юджин продолжал:

— Пока я размышлял и сомневался, произошел очередной инцидент из серии уголовной хроники. Утром перед работой я вышел к машине, и издали мне показалось, что у днища кузова несколько странные очертания. Не поленившись, я подлез под машину и обнаружил у самого карданного вала небольшую капсулу, прикрученную веревкой к глушителю. Вам, Алекс, как специалисту прекрасно известны такие штучки — ими пользуются все террористы. Этот случай подхлестнул меня к побегу и выбил из головы гамлетовское «быть или не быть».

Срочно требовался паспорт гражданина самой братской страны, вызывающей у пограничников умиление и любовь,— к таким странам принадлежала Болгария. Но сомнения все равно подтачивали меня, ночами я не спал, обуреваемый мыслями о семье, о старых родителях и о своем неопределенном будущем. Впрочем, моя собственная судьба не очень беспокоила меня: я фаталист, Алекс, и верю в то, что если Обстоятельства или некая Высшая Целесообразность сочли нужным вытолкнуть меня за рубеж, то, значит, мне найдено другое, совершенно иное жизненное предназначение. Какое? Тогда я об этом не думал, больше терзала меня участь детей, обреченных после моего побега на дискриминацию, и, главное, как я буду выглядеть в их глазах: грязный предатель, перебежчик, дезертир! Но какова была альтернатива? Искромсанное тело, стынущее в морге, опознанное или вообще неопознанное. Легко считать мой побег аморальным... Ну, а если нет выбора? Что есть на свете дороже жизни? [6]

В таком лихорадочном состоянии я и приступил к поискам болгарина, стараясь действовать быстро и скрытно — не дай Бог о моих замыслах дошло бы до нашей фирмы! К счастью, давно водил я дружбу с одним актером, женатым на болгарке, которая хорошо знала все болгарское землячество.

За жареным барашком с «гамзою» в круглых плетеных бутылках я пожаловался, что при написании одного труда (им я представлялся как научный сотрудник, служивший в «ящике») не могу я обойтись без болгарского эксперта, часто бывающего на Западе и имеющего международный опыт. Так я познакомился с профессором Г., работавшим по соглашению при одной нашей академии над темой о Балканском Союзе.

Друг-актер затащил его в финскую сауну, обставили мы все дело с размахом, на угощения и все прелести комфорта я не скупился: все-таки на карту была поставлена вся моя жизнь.

Когда я пошел за очередной бутылкой, припрятанной в раздевалке на дне моего «дипломата», то не преминул залезть в пиджак профессора и просмотреть его паспорт — большинство иностранцев ведь предпочитают у нас таскать документы с собой не только из-за передряг, которым постоянно подвергаются, но и как своего рода пропуск в ресторан или в театральную кассу. Мне повезло: весь паспорт был испещрен иностранными визами, из них французская и финская действовали целый год, по-видимому, профессор был связан с болгарской разведкой, но это дела не меняло. Куй железо, пока горячо! Это вы хорошо знаете, Алекс. И я начал ковать и ковать, молотом только успевал жарить по наковальне, искры летели по сторонам!

Гуляли мы широко и вольно, завершили на лирической ноте в ресторане, клялись, как принято у нас, в вечной дружбе и верности, утопали в объятиях и поцелуях. Во время возлияний я времени не терял и обрабатывал болгарина со всех сторон. Боже, как тяжело, когда не знаешь заранее хоть что-нибудь существенное о человеке, тычешься наугад, как слепой котенок.

Профессор проводил время в архивах и, естественно, часто упирался головой в стену, пытаясь добыть кое-какие документы. А я все искал, за что бы зацепиться. Что говорил на этот счет Учитель? По-моему, Алекс, вы большой знаток его трудов. А он вещал, что нужно ухватиться за одно звено, чтобы вытащить всю цепь. И я вцепился в это звено, как слепень в загривок коровы, обещаний не жалел: «Нет проблем, устроим, полно знакомств, вам нужен военный архив? Так у меня там друг и любит, между прочим, болгарскую мастику, он, знаете ли, лет десять работал в Париже и привык там к перно, меня, правда, дрожь берет от этих анисовых капель, а мастика так на него похожа...»

Гвоздь был забит настолько красиво, что уже на следующее утро профессор позвонил мне домой, рассыпаясь в благодарностях за сауну и всю гульбу и деликатно намекая на мои обещания.

Юджин прервался и глотнул пива.

В паб, словно стая рассерженных гусей, ввалилась группа черноголовых туристов, они гоготали и хлопали крыльями, грохотали стульями, рассаживаясь и заказывая, громко переговаривались и щелкали фотоаппаратами.

Зачем Юджин рассказывает мне всю эту историю? Чтобы доказать свою непричастность к предательству и отвести удар? Ведь он до сих пор подозревает, что я могу его кокнуть. Или просто после тяжких дней запоя его тянет вывернуть душу?

Тяга к откровению как шквал иногда накатывается на нашего брата. Сидел я однажды за столиком с чахлым старичком, напоминающим Дон-Кихота (события разворачивались в мекленбургском литературном клубе с огромной деревянной лестницей, резными стенами и витражами), и вдруг наплыло: выложил ему внезапно о себе всю подноготную, даже ордена перечислил, все рассказал, фотографии Риммы и Сережи показывал, заграничный паспорт, и о тайниках, и о черт знает чем. Старичок вежливо слушал исповедь, кивал головой, улыбался и нервно ерзал. Естественно, решил, что за столик ему подбросили провокатора, дабы выведать интимные стороны жизни Сервантеса,— вот он, ужас жизни в Мекленбурге: вдруг станешь самим собой, очищаешь душу и режешь правду-матку, надеясь на понимание и взаимность, но в ответ... Что в ответ? Порядочный человек подумает: вот, сволочь, болтает и думает, что я клюну на его откровения, дудки, брат, жизнь нас многому научила. А подлец быстренько, боясь, чтобы вы его не опередили, обвинив в отсутствии должной позиции, полетит стучать и наговорит с три короба, лишь бы спасти свою шкуру. Невозможно быть искренним в Мекленбурге, и это, наверное, самое страшное. Все мы подозрительны, вот и я не верю ни одному слову Юджина, повсюду чудится тяжелая длань шпионажа, все мы очумели, все погрязли в подозрительности!

Я оторвался от своих мыслей и тронул его за рукав.

— Что вы замолчали, Юджин? Пусть галдят, они нам не мешают. Не выношу туризм и вообще коллективные походы. В новом городе я обычно брожу один, вооружившись картой, дышу, смотрю по сторонам, зеваю, рассматриваю витрины, принюхиваюсь к запахам, и каждый раз мне кажется, что я уже там бывал и все знаю... Так продолжайте же, мне очень интересно [7].

Юджин как будто только и ждал моего приглашения:

— В тот же день я направился к одному отставнику, назовем его Фокусником, у которого в свое время стажировался, осваивая все тонкости легализации по подлинным и фальшивым документам. На пенсию старик ушел совсем недавно и полностью посвятил себя делу рыбалки, к которому тщательно подготовился. Я сам понавозил ему массу различных блесен, крючков, спиннингов, и возили ему все, кто у него стажировался, слыл он виртуозом в делах фальшивок и мою просьбу чуть освежить знания воспринял с энтузиазмом и умилением, тем более что я принес ему в дар очередной комплект блесен. Начал он учить и демонстрировать, и я только успевал переби-

---

[6] **Действительно, что дороже жизни? Что есть жизнь?** ...a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing". — **«Жизнь — только тень, она — актер на сцене. Сыграв свой час, побегал, пошумел — и был таков. Жизнь — сказка в пересказе глупца, в ней шум и ярость, и ничего она не значит»,— учил меня австралийский папа, являвшийся во сны после бегства с крыльца толстой бабы, торговавшей урюком, был он в красном бархатном халате, с однотомником Уильяма в издании «Спринг букс», в окружении казуаров, молóхов, страусов эму, диких собак динго и, конечно же, симпатичнейших коал с эвкалиптовыми листьями в зубах.**

[7] **Беседу с «Контом» я записывал на мини-магнитофон, не хотелось потом напрягать мозги при составлении доклада Хилсмену.**

вать его унавоженную матом речь нужными вопросиками, особенно о технологии замены фотографии и подделки печати: старик тут же достал из письменного стола приспособление с бритвенным лезвием, специальный паровой нагреватель (все это я потом у него взял для домашних тренировок) и аккуратно отделил фото от какого-то подвернувшегося ему под руку документа, наклеил другую фотографию, достал несколько печатей, в том числе и целый ворох маленьких печаток с отдельными буковками, и очень ловко скопировал достаточно заковыристую печать с моего удостоверения.

Итак, начало было положено. Бежать я решил через Финляндию, хотя знал, что финны иногда выдавали дефекторов под нажимом могущественного соседа, и решение это объяснялось не только имевшейся визой, но и психологическими моментами, ибо в гурьбе гудящих полупьяных финских туристов скромный, трезвый болгарин с небольшим чемоданчиком не вызовет ни раздражения, ни особого интереса.

Для побега я наметил воскресенье, когда вполсилы бдят наши недремлющие церберы, и через своего коллегу забронировал железнодорожный билет до Хельсинки для болгарского гражданина — обычное дело в нашей повседневной работе, где все постоянно приезжают и уезжают по фальшивым паспортам. И железную дорогу я выбрал, исходя из своих прежних наблюдений при пересечении границы: режим на пограничных станциях казался мне либеральнее, иностранцев там не просвечивали рентгеном в поисках оружия, да и не хотел я быть во власти нашей прихотливой погоды, из-за которой могут задержать или вовсе отменить отлет.

Итак, все было на мази, я приступил к операции. В субботу вечером я пригласил профессора в ресторан для знакомства с «другом из архива», прилично его накачал и обласкал по всем правилам, изложенным в заповедях Дейла Карнеги, его прекрасные советы, которые в жизни обычно, увы, использовать забываешь, гораздо умнее, чем у полковника Лоуренса с его «чаще прибегай к чувству юмора, предпочтительны сухая ирония и остроумный ответ не слишком общего характера».

Уже подали десерт, а желанный друг, естественно, все не появлялся, пришлось разыграть небольшой спектакль, звонить ему по телефону и довести до сведения нетерпеливо ожидающего профессора, что друг оказался в самом горниле государственных дел, в ресторан не успевает, но готов заскочить ко мне домой, поскольку поедет мимо с работы. Профессор, расслабленный вином и моим тонким обхождением и привыкший уже к несуразности и непредсказуемости всей нашей мекленбургской жизни, естественно, поверил во всю эту туфту и без всяких колебаний погрузился со мною в такси: горел в нем неистребимый дух исследователя, жаждущего добраться до сокровенных тайн Балканского Союза, и предложи я ему лететь за ними в космос — помчался бы галопом!

Добрались мы до моей квартиры без всяких приключений, бар мой ломился от самого изысканного спиртного, и уже через полчаса мой гость получил лошадиную дозу сильнодействующего снотворного, по моим расчетам, он разлепил бы глаза не раньше, чем через тридцать часов, когда я уже любовался бы видами Финского залива со стороны Хельсинки.

Вскоре он начал зевать, тереть глаза, клевать носом, посерел и побледнел, потянулся к диванчику (а я все поигрывал наживой: вот-вот приедет друг, человек он обязательный, обидится, если мы его не встретим, впрочем, можно и вздремнуть на полчасика, чувствуйте себя как дома, дорогой товарищ!), примостился на нем и тут же ровно и сладко захрапел. Я снял с него ботинки, любовно укрыл пледом, потушил свет и вышел в соседнюю комнату.

Паспорт профессора я прощупал, еще когда вешал его пиджак на плечики в прихожей, и тут же приступил к работе, пустив в дело весь инструментарий старика Фокусника. Тренировки мои не прошли впустую, и через пару часов я уже любовался своей фотографией на чужом паспорте, скрепленной официальной печатью.

Часы показывали два, старт прошел отлично, Рубикон был перейден. Поезд уходил в восемь вечера, кассы открывались в десять утра (как известно, билет за границу у нас можно получить только по паспорту), я немного вздремнул, тщательно выбрился, намазал лицо заграничным лосьоном (это действует на окружающих, иностранцы пахнут по-другому), переоделся в добротные европейские одежды, оставил на всякий случай записку, чтобы профессор дожидался моего возвращения, и около девяти выскользнул на тихие воскресные улицы. В десять часов я уже всунул свою благоухающую физиономию в окошечко вместе с паспортом.

— Будьте любезны, билет по брони...— Говорил я с легким и приятным акцентом.

Миловидная девушка за окошечком порылась в своих бумагах и вдруг рявкнула грубым гортанным голосом, превратившим ее личико в дышащую злобой рожу запущенной старой ведьмы.

— Да, бронь в Хельсинки имеется, но тут также и бронь на Берлин на среду... Как это понять?!

— Какой Берлин?!

— Бронь на ваше имя... Разве вы не заказывали? Что вы мне голову морочите?!

— Тут, видимо, какая-то ошибка...

— У нас не бывает ошибок! — отрезала фурия и вышла с моим паспортом из комнаты. Да, Алекс, наша родина суетна и непредсказуема, все неустойчиво, все движется по сумасшедшим законам диалектики, все течет и нет никакого порядка, один произвол, и в его бушующем пламени человек чувствует себя лишь дрожащим кусочком пепла. Можете себе представить, какие страшные минуты я пережил в ожидании красавицы, и она появилась под предводительством невыспавшегося человека, походившего по всем гнетущим внешним параметрам на сотрудника службы безопасности.

— Через кого вы заказывали билет в Хельсинки? — спросил он хмуро.

— Через сотрудника нашего посольства.— Я назвал первую болгарскую фамилию, которая пришла мне в голову.

Человек осмотрел меня сверху донизу, как смотрят врачи на вошедшего в комнату голого новобранца.

— Странно... В Хельсинки и затем в Берлин. Две брони... Как же так?

Я покрылся холодным потом.

— Видимо, это заказали без моего ведома,— залепетал я,— посол говорил, что сразу же по возвращении я должен срочно выехать в Берлин,— мысль моя лихорадочно билась, как птица в клетке,— я пробуду в Хельсинки буквально несколько часов, вернусь и тут же уеду в Берлин.

Человек молчал и что-то прикидывал, явно раздраженный самим фактом таких стремительных передвижений: не о безопасности он думал, а просто завидовал, что кто-то другой, а не он имел возможность так свободно пересекать границы.

— Это очень важное дело... Я могу сейчас позвонить послу... Если можно, я выкуплю сразу два билета...— Терять мне уже было нечего, а на наших чиновников слова «посол», «министр» оказывают магическое воздействие.

— Ну... если так... Что ж, выдайте ему билеты!

И он удалился, грозно и величественно, и ворчащая фурия подчинилась его приказу. Часы показывали одиннадцать, я вышел на улицу и вытер вспотевшее лицо носовым платком.

И вдруг, Алекс, мне нестерпимо стало жалко и себя, и свою семью, и город, который я покидал навсегда,— замелькали в голове картинки прошлого, радостные и сентиментальные: речные кораблики с культурником (два прихлопа, три притопа), любимая станция метро со скульптурами солдат, рабочих и крестьян, идиллические обветшалые церкви, фонари вдоль бульваров, уродливые, но такие близкие сердцу трамваи...

Юджин замолчал, горло ему перехватил спазм. Он снял очки и долго протирал их специальным фланелевым тампоном. Нет, он не играл, он действительно плакал, впрочем, при надобности я мог разыграть сцену и почище, особенно хорошо удавались мне внезапные взрывы гнева — я их важно называл пароксизмами гнева,— плакал я гораздо хуже, но навернуть слезу мог без всяких усилий.

Юджин глубоко вошел в настроение и даже драматически стиснул руки.

— Что мне соборы Петра и Павла? Что мне заваленные товарами магазины? Я ведь не рвусь в миллионеры и вполне удовлетворялся нашей квартирой и машиной... И все, больше мне ничего не нужно, о даче мы и не помышляли, обожали иногда летом выезжать с палаткой и детей к этому приучили. У тещи в деревне большой дом, свой огород, корова... И я решил в тот момент тут же вернуться домой, извиниться перед болгарином, что-нибудь придумать насчет друга. Но здравый смысл тут же поборол внезапный порыв, такое находит на меня часто... ведь я дурак!

Юджин вдруг захохотал, спрятал свой мощный нос в пивной кружке, поперхнулся и так закашлялся, что казалось, вылетят изо рта у него и бронхи, и легкие.

— В общем, я поездил по городу, простился со знакомыми местами, со скамейкой у тихих прудов, где мы впервые поцеловались с женой, сходил в зоопарк (его любил мой отец и вытаскивал меня туда каждый раз, когда приезжал в столицу), пообедал плотно в том самом отеле, где я по поручению Карпыча танцевал с француженкой около фонтана, посматривая на свое отражение в зеркальном потолке,— там началось мое падение, там пришло и воскрешение,— сейчас все казалось милым, безвозвратно ушедшим прошлым.

С вокзала я на всякий случай решил позвонить к себе домой. К моему ужасу, трубку поднял профессор:

— Что случилось, Юджин? Куда вы исчезли?

— Вы так сладко спали, что я не рискнул вас будить. Меня срочно вызвали на работу... произошла авария,— плел я все это с искренним волнением,— ждите меня, я скоро вернусь и захвачу своего приятеля.

— Но почему вы заперли меня? Я не могу выйти! — Профессор с трудом сдерживал негодование.

— Дело в том, что у меня специальный замок... от воров. Как вы себя чувствуете? Я сейчас приеду...

— Очень плохо. Не понимаю, что со мной произошло... Скажите, Юджин, куда исчез мой паспорт?

— Какой паспорт?

— Который лежал у меня в боковом кармане.

— Я не понимаю, о чем вы говорите...— Я из кожи вон лез, стараясь разыграть удивление.— Зачем мне ваш паспорт?

— Но он был у меня в кармане... он всегда там.

— Возможно, вы оставили его дома... Дождитесь, пожалуйста, моего приезда!

Он недовольно бурчал; я положил трубку, внутри все клокотало.

Юджин глубоко вздохнул, нырнул своей оглоблей в бокал пива и словно забыл обо мне.

Елки-палки, ничего мы толком не умеем делать, думал я, даже элементарное снотворное изготовить не в состоянии, црушники, гады, такие штуки вкалывают своим подопытным кроликам — секретаршам, что они друг у друга секретные документы воруют, закладывают в девочек целые программы, и готовы они под гипнозом продырявить пулей насквозь хоть президента, а у нас... если бы какое-нибудь серьезное психотропное средство, а то всего лишь снотворное! Психотропные тоже подводят, сам я однажды сел в лужу, поверил Центру и распил с одним объектом бутылку арманьяка, предварительно проглотив нейтрализующую таблетку, и что? Объект, как ожидалось, не выложил мне свою переполненную секретами душу, а впал в состояние крайней веселости, а я чуть не уснул, и только целый кувшин крепчайшего кофе вынул меня из размягченного состояния.

— И вы не вернулись назад? — спросил я главного фигуранта дела «Конт», когда он выплыл из бокала.— А если бы он тут же позвонил в соответствующие органы?

— Я не рассчитывал на такую прыть. В любом случае он начал бы с офицера безопасности посольства. Было воскресенье, все уезжают за город. Наконец, все выглядит со стороны не так просто: человек попал в чужую квартиру. Как? Почему? Пьяный он или трезвый? Наконец, профессор считал, что я работаю в «ящике». Стали бы искать «ящик»... Учтите, дело было в воскресенье! Нет, я рассчитал верно! Впрочем, в тот момент я об этом не думал, я летел к цели, как фанатичный камикадзе.

В купе меня ожидал очередной сюрприз. Навстречу поднялся добродушный на вид мужчина, представившийся как сотрудник болгарского посольства. У меня чуть язык не отнялся, но, мгновенно сориентировавшись, я представился как польский профессор. Мой спутник, к счастью, принадлежал к распространенной породе неутомимых говорунов, готовых общаться хоть со стеной, лишь бы она не мешала им высказаться: он фонтанировал до полуночи, пока я не залез под одеяло.

Сначала я попытался заснуть, но сердце мое громыхало так громко, словно отстукивало последние миги жизни, я раскрыл книгу, но буквы плясали перед глазами. Так я и пролежал до самой границы, вслушиваясь в стук колес. Что делает профессор? Взломал дверь? Вызвал по телефону своих друзей? Пришло ли ему в голову, что я использовал его паспорт для побега? Сколько времени потребуется на перекрытие пограничных пунктов? На мгновение я заснул, и вдруг возникла та самая миловидная мордашка в кассе, брызжущая слюной, а рядом профессор. Он размахивал своим, а теперь моим паспортом, а она кричала своим гортанным хамским голосом: «Он в Хельсинки убежал!»

Перед пограничной станцией проводник собрал паспорта и бросил весело:

— Привет братьям-болгарам! — Благо, что мой сосед-болтун ничего не понял.

Вскоре появились и пограничники с нашими паспортами и внесли новую ясность в мою личность: тут у нас двое болгар!

— Как? Вы тоже болгарин?! — удивился мой компаньон.

— Нет, я поляк, но являюсь гражданином Болгарии,— ответил я на родном языке и чуть сощурил глаза, чтобы придать некую многозначительность этой фразе.

— Но вы член нашего землячества? Я там знаю почти всех...— лопотал болгарин.

— Бывают обстоятельства, когда в землячестве не все известно,— твердо осадил я его.

Смешно, Алекс? Секретность настолько пропитала нашу жизнь, настолько свыклись все, что вокруг осведомители, агенты, резиденты, нелегалы, затемненная номенклатура, таинственные иностранцы, что принимаем любую чепуху на веру. Вот однажды пришла к моей жене подруга. «Маша,— говорит,— познакомилась я на курорте с одним красавцем разведчиком, одет во все иностранное, рассказал мне по секрету, что работает в Испании. Твой муж не знает его?» Я тут же запустил проверку, и оказался красавец продавцом с двумя судимостями... Но я опять отвлекаюсь, Алекс, извините. Короче, я выкрутился кое-как, навел тень на плетень.

И вот наконец финская земля, мои страдания кончились, запахло свободой, меня охватила полная эйфория, голова кружилась от успеха — так, наверное, радуется осужденный на казнь, когда за пять минут до повешения ему приносят известие о помиловании.

Старый хельсинкский вокзал показался мне дворцом, один иностранный говор приводил в экстаз. Я легко получил недорогой номер в привокзальном отеле и рассчитывал на следующее утро уехать в Турку, а оттуда на пароме — в Швецию. Будущее казалось мне безоблачным, я и думать забыл о семье и своем побеге, я радовался жизни и комфорту, побултыхался в душистой ванне, обтерся огромными махровыми полотенцами, разрисованными абстракциями, я заказал шампанского и раков, дурной тон, конечно, но хотелось кутить, а в Финляндии в то время был как раз рачный сезон, и так захотелось раков... ведь в последний раз ел я их лет пять-шесть назад у отца, ходили мы с бреднем по заросшему озеру и приволокли домой целых три ведра, раки — это моя слабость, особенно если они остро пахнут илом! Как люблю места, где проходило мое солнечное детство с кофейного цвета «ауди», и особняком, и часовыми! Когда я охотился на воробьев в саду...

Как сейчас помню светлый, белый-белый номер и двух негров: один подвозит тролли с шампанским и раками, другой разливает. Оба в белых фраках, белый-белый цвет... Как их занесло в Финляндию? Впрочем, цветными и черными уже забита вся Европа.

Я решил прогуляться по Маннергейм-тие, сошел вниз по лестнице и, задержавшись на втором этаже, взглянул на фойе. Рядом со стойкой администратора стояли двое в шляпах и плащах, вид деловой, совсем не праздный, выправка военная, морды пинкертоновские.

Вся моя эйфория мигом улетучилась, и до меня дошло, что моим шефам удалось связаться с финской полицией и нацелить ее на меня, по всей видимости, подав мою особу как опасного уголовника, убившего не один десяток людей или ограбившего сотню банков.

Как ракета, я взлетел в свой номер, запер его на ключ изнутри, быстро собрал свой саквояж и приоткрыл балкон: внизу простирался провинциально-уютный Гельсингфорс, почти рядом серело здание универмага «Стокман», где я частенько покупал сувениры во время транзита домой. Балкон опоясывал гостиницу и был разбит перегородками на секции у каждого номера.

Жизнь или смерть! Не долго думая, я перелез на соседний балкон, затем на следующий, такая прыть у меня появилась от страха, что взял я, как добрый конь, около двадцати барьеров. На одной секции я задержался и постучал в окно — дверь отворилась, и я предстал перед удивленной парой, рассеянно поглощавшей виноград из круглой хрустальной вазы.

Вы верите в людей, Алекс? Иногда весь мир мне кажется одним огромным и злобным чудовищем, которое все разрывает на части, предает и продает, и все равно завидует, и исходит жаждой убийства,— низкий и мерзкий мир, в котором подыхать и то противно! Но вдруг в этом море зла наталкиваешься на удивительное милосердие и красоту души, на доброту, поражающую своей бескорыстностью... Ах, как радостно тогда становится на душе и снова хочется жить и — как это говорил доктор Гааз? — спешить делать добро. Мы, разведчики, изломаны, мы искорежены своей профессией, мы всегда ищем в человеке слабину и грязь и сами от этого превращаемся в нелюдей, и все-таки... все-таки самая поганая тварь останавливается и задумывается, когда своим грязным носом ощущает добро...

Вся сцена выглядела, как в хорошей комедии Чарли Чаплина, мне оставалось приподнять свой несуществующий котелок и представиться:

— Я политический беженец из Мекленбурга... Помогите мне... Меня могут выдать финны... Сейчас сюда придут...

Лица супругов тут же стали деловыми, словно они давно ждали, когда в их комнате появится беглец (оба оказались западными немцами, но мой ломаный английский поняли без труда), и безмолвно втиснули меня в платяной шкаф вместе с саквояжем, главное, без тени колебания или страха, наверное, именно так порядочные интеллигенты в свое время прятали революционеров от царских ищеек, зря, наверное. И почти сразу же громкий стук в дверь:

— Откройте! Полиция!

Супруги явно не торопились, муж даже вышел в ванную и включил воду.

— Что вам нужно? — спросила жена через дверь.

— Немедленно откройте дверь!

— Но я не одета! — Все это напоминало мне всю ту же сумасшедшую комедию с преследованиями, выстрелами, падающими перекидными мостами, гонкой и скачкой... Помните, какой-то латиноамериканский политэмигрант скрылся в церкви и спрятался под рясой у священника? Все было похоже на правду, я задыхался от запахов крепчайших духов, бивших мне в нос[8] из дамского платья, и больше всего на свете боялся чихнуть, а чихнуть хотелось страшно, громко, очистительно чихнуть на весь шкаф — представляю, как бы я выпал оттуда, словно кулек, прямо к полицейским ботинкам!

Щелкнул замок, и тут я услышал истерический вопль мужа, орущего на диком немецком — словно тарелки били об пол.

— Как вы смеете?! Кто вам дал право?!

— У вас в комнате никого нет, герр?

— Что за нахальство! — Дальше взрывалось нечто похожее на «доннер веттер» и «швайне», он стал набирать номер телефона.— Немецкое посольство? Срочно соедините меня с консулом! На меня совершено нападение!

— Извините, герр, мы только хотели узнать...

— Мне до этого нет никакого дела! Как вы смели вломиться в мой номер? Передайте консулу,— это уже в трубку,— что звонит герр Бауэр... Я жду... Я не кладу трубку...

Дверь захлопнулась, и герр Бауэр, поорав еще с минуту,— его вопли доносились до коридора, куда уже, судя по голосам, высыпали люди,— приоткрыл створки шкафа.

— Вы не задохнулись? — спросил он тихо по-английски и снова стал громко возмущаться и даже вышел в коридор и пошел в контрнаступление на перепуганную полицию — прекрасный прием, ведь все мы не перевариваем истериков, душевнобольных, скандалистов, боимся их как огня.

Так началась моя дружба с Бауэрами, милейшими людьми, работающими на западногерманской фирме в Каире, им обязан я жизнью[9], им я останусь благодарен до самой смерти.

У меня и сомнения не было, что все входы и выходы из отеля перекрыты: финны работают грубо, но добросовестно. Фрау Бауэр вышла в город и в театральном магазине приобрела парик и набор грима, супруги посадили меня в кресло, довольно умело разрисовали, она пожертвовала некоторыми своими туалетами, и вскоре я превратился в старую, противную, носатую бабищу в очках и преспокойно прошмыгнул через все полицейские кордоны.

Выйдя из отеля, я тут же направился на вокзал, благо, что он через дорогу, переоделся в вокзальной уборной и тут же сел на поезд до Турку.

На следующий день я уже шагал по мостам Стокгольма, к вечеру на деньги, ссуженные Бауэрами, я вылетел в Каир...

Дальше уже неинтересно... Я познакомился с Ритой, поступил на работу. У меня появилась идея написать бестселлер под чужой фамилией и свести счеты с прошлым. Кое-что я написал... Впрочем, я давно не пил столько пива... Не пора ли нам прогуляться?

Мы расплатились и покинули гостеприимный паб.

— Публиковать мемуары вы не считаете зазорным, а разве это не нарушение присяги? — воткнул я ему шпилечку.

— Это открытая политическая борьба, это вполне нормально! В истории полно примеров, когда люди отрекаются от своих взглядов и восстают против прошлого. Вспомните Андре Мальро, Говарда Фаста или Артура Кестлера. Все они были убежденными коммунистами, но потом превратились в не менее убежденных антикоммунистов. Кто-то сказал, что в конце концов в мире останутся лишь коммунисты и бывшие коммунисты,— я думаю, что коммунистов вообще не останется...[10].

На улице моросил дождик. Юджин раскрыл зонт с бамбуковой ручкой, а я шагал, подставив голову стихиям, и слизывал с губ солоноватые капли. Дождь успокаивал меня, настраивал на оптимизм, бодрил и веселил, в нем я чувствовал себя буквально как рыба в воде, наверное, в другой жизни я и был каким-нибудь карасем. Римма, наоборот, мучилась от пасмурной погоды, дождь ввергал ее в транс, она оживала только под солнцем, светящим с голубого неба, ливня она боялась панически и всегда задергивала в комнате шторы. Меня же дождь омывал и очищал, я мог часами наблюдать, как стучат и разрываются капли на асфальте, как суматошно бежит вода по крышам, прорываясь к водосточной трубе, и особенно любил я идти по траве после теплого дождя. Я бы всю жизнь ходил босиком — терпеть не могу туфли,— из матушки-земли в меня вливаются токи, призывающие к жизни. Кэти не понимала наслаждения, когда топаешь голыми пятками по полу, и все время подсовывала тапочки.

Вокруг Тауэра бродили туристы под зонтами и, несмотря на дождь, щелкали фотоаппаратами. Я еще раз взглянул на пепельного цвета башни и вдруг почувствовал, что нахожусь под слежкой. Такое бывало не раз: словно невидимые мурашки пробегали по спине, покалывая кожу, не понимаешь, в чем дело, но осознаешь некий дискомфорт, хочется оглянуться, повертеть головой или нырнуть куда-нибудь в сторону.

Ощущение слежки не проходило, чьи-то настороженные глаза сверлили и жалили меня, я повернул резко голову — что-то мелькнуло, тут же спрятавшись за зонтом,— повернул еще раз и скорее почувствовал, а не увидел мельтешения неясного силуэта в толпе. Неужели это фата-моргана шизофреника Алекса? Или просто нервы обострены до тонкости бритвенного лезвия — играть на лезвии ножа, дрожа от сладости пореза, чтоб навсегда зашлась душа, привыкнув к холоду железа?.. Черт побери, неужели это болваны Хилсмена на всякий случай контролируют наши променады?

Я взял Юджина под руку, встал под зонт и потянул его в узкий, выплывший прямо из средневековья, покрытый булыжниками cul de sac[11], упирающийся в приземистое строение с башенкой наверху. Сзади застучали о булыжники каблуки, мы с Юджином прошли немного, остановились у тупика и развернулись.

Футов за сто от нас на пустой улице стоял человек, прикрыв лицо зонтом. Не убирая зонта, словно защищаясь щитом, он начал боком, по-крабьи пятиться назад и быстро скрылся за углом.

Продолжение следует.

[8] Я представил себе рубильник «Конта», воткнутый в юбку, и с трудом сдержал улыбку.

[9] «Неужели западногерманская разведка? — мелькнуло у меня в голове.— Нет, Алекс, они информировали бы ЦРУ, выкормившее службу генерала Гелена».

[10] Хорошего мнения он был о себе, этот Юджин! Андре Мальро, Кестлер... Себя, видимо, он считал новоявленным Пименом, которого Бог пустил в этот мир лишь для того, чтобы написать истинную правду о Монастыре и Мекленбурге.

[11] Глухой переулок, тупик.

ВЕДЕТ РУБРИКУ
ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



Отец Павел Флоренский. 1912 г.



УДЕЛ ВЕЛИЧИЯ

Святость — еще одно слово, чуть не ушедшее из словаря, почти устаревшее в наше время. До святости ли, когда трудно даже просто сохранить человеческое лицо. Когда надо быть чуть ли не святым, чтобы остаться человеком!..

Пухлый том следственного дела. Открыл — и сразу захлопнул. Лица, лица, молодые и старые, мужские и женские — несколько страниц, сплошь заклеенных фотографиями,— и уже знаешь: все эти люди обречены, так или иначе рано или поздно — погублены...

Захлопнул и, собравшись с духом, открыл снова.

Восемьдесят человек — богословы, священники, монахи, ученые, мастеровые, торговцы, медсестры, крестьяне — всех их объединила карающая рука ОГПУ и общая «вина» — вера в Бога. Единственная достоверная «вина», ибо все другие обвинения выдуманы, фальшивы. Вчитываюсь в ворох ордеров, протоколов, справок, квитанций, пытаюсь разглядеть в пучине, которая поглотила всех этих людей, судьбы.

Одно имя среди них — великое. Павел Александрович Флоренский — мыслитель, ученый, священник, писатель. Сегодня его называют «русским Леонардо», изучают во всем мире, православная церковь собирается канонизировать его как святого — мученика XX века. А здесь, в следственном деле 1928 года он преступник, опасный для общества элемент, мракобес. С этого времени он будет состоять под постоянным надзором, преследоваться до самой кончины.

В одном Павлу Флоренскому повезло: его семья, внуки сеют зерна его мудрости по всему свету, берегут их для будущих всходов. И все же до сих пор последняя пора его жизни — самая скрытая от нас, запечатанная в секретных архивах, овеянная домыслами и легендами. Неизвестна даже точная дата смерти, как и где он погиб...

И вот следственные материалы о Флоренском впервые предстают свету гласности. Они — перед нами. Может быть, теперь откроется тайна?

1

В мае 1928 года ОГПУ провело масштабную операцию в Сергиевом Посаде и его окрестностях: арестовало и перевезло в Бутырки большую группу верующих — служителей церкви и мирян. Операция планировалась как двойной удар — по церкви, уже основательно обескровленной, и по остаткам дворянского сословия, в том числе высшей аристократии, которые спасались возле Троице-Сергиевой лавры, как во все времена спасались люди в храмах от последней погибели.

Перед этим прогремела «артподготовка»: газеты и журналы печатали из номера в номер обличительные, гневные памфлеты и фельетоны об окопавшемся в Сергиевом «контрреволюционном отродье»: «Гнездо черносотенцев под Москвой!», «Троице-Сергиева лавра — убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов!», «Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие и др. ведут религиозную пропаганду!». Общественное мнение было подготовлено. Заработали «органы», машина ОГПУ.

На допросах большинство участников заявили о своем признании Советской власти или, во всяком случае, об аполитичности («всякая власть — от Бога», «соввласть меня не трогает, и я к ней не касаюсь»). Некоторые были настроены фатально, как Софья Тучкова (по отцу графиня Татищева), сестра милосердия: «Я никогда и нигде не говорила против совласти, так как я считаю, что в жизни такой переворот явился естественным образом в процессе хода истории. Об осквернении храмов со стороны совласти я также нигде не говорила, что я также считала естественным событием истории, хотя первое время для меня как религиозной было тягостно».

Пожалуй, одна только дочь Саввы Мамонтова, Александра,— художница и бывшая владелица Абрамцевской усадьбы — показала характер: «Сторонницей совласти не являюсь вследствие гонения на религию и притеснения верующих. Кто у меня бывал, предпочитаю не называть...» А игумен Параклитовой артели (монастыря) Ларин твердо заявил: «От служения церкви, пока существую на свете, не откажусь!»

Но что бы они ни говорили, как бы себя ни вели, все были отнесены к социально вредным элементам. Формулировалось это однотипно и безграмотно: «как бывший монах, не сочувствующий соцстроительству, принимая во внимание его службу монахом, подходит к монархическому строю» или «как бывшая дворянка, принимая во внимание сочувственное отношение к монархии»... Оказаться священником или дворянином было уже преступлением, а еще хуже, если найдут при обыске фотографию царя или царской семьи (искали специально) — это уже вещественное доказательство. Иеромонаху монастыря Киновия Якову Порошину поставили в вину то, что поминал на богослужении царя, старику инвалиду Александрову — что носит николаевскую медаль и «форменный кафтан времен царизма».

Правда, среди этих разноликих людей попался и один бывший жандармский подполковник — Михаил Банин, который когда-то «вербовал секретных сотрудников, руководил их деятельностью и производил аресты революционеров». Так он и в советское время, как гласит вшитая в дело справка, «состоял секретным осведомителем ОГПУ по Сергиевскому уезду». Банину и тут «было предложено помочь ОГПУ. Однако он от этого отказался...». За что, видимо, и получил жестокий приговор — десять лет концлагеря — и был отправлен на Соловки.

Ордер на арест Флоренского подписал Генрих Ягода. 21 мая сотрудник ОГПУ, «комиссар активного отделения» Жилин исполнил предписание шефа: арестовал Флоренского и произвел у него обыск, в доме 19 на улице Пионерской. Сообщение обо всем этом передано в Москву в десять часов утра.

На Лубянке, в комендатуре ОГПУ, арестованному дали заполнить анкету. Флоренский Павел Александрович, русский, 46 лет, из дворян, сын инженера, родился в местечке Евлах, Азербайджан, окончил Московский университет и Московскую духовную академию. Семья — жена, три сына и две дочери. Профессия — научная деятельность, место работы — завотделом материаловедения Государственного электротехнического института, редактор «Технической энциклопедии». Бывший профессор Московской духовной академии. Привлекался к судебной ответственности в 1906 году за проповедь против казни лейтенанта Шмидта.

В анкете Флоренский сделал примечание: «При обыске взяты: жетон Красного Креста, полученный после возки раненых с фронта, и фотографический снимок царской встречи, переданный мне, вместе с другими снимками, после смерти одного духовного лица».

Никакого обвинения заключенному предъявлено не было.

25 мая Флоренский дал такие показания на допросе:

«Фотокарточка Николая II хранится мною как память Епископа Антония. К Николаю я отношусь хорошо и мне жаль человека, который по своим намерениям был лучше других, но который имел трагическую судьбу царствования. К совласти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял добровольно, предложив эту отрасль работы. К совласти я отношусь как к единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы. С некоторыми мероприятиями соввласти я не согласен, но безусловно против какой-либо интервенции, как военной, так и экономической.

Никаких разговоров с кем-либо о тех мероприятиях, с которыми я не согласен, я не вел».

29 мая было готово обвинительное заключение:

«Согласно имеющимся агентурным данным, Секретному отделу ОГПУ было известно, что нижепоименованные граждане, проживая в г. Сергиеве и частично в Сергиевском уезде и будучи по своему социальному происхождению «бывшими» людьми (княгини, князья, графы и т. п.) в условиях оживления антисоветских сил, начали представлять для совласти некоторую угрозу, в смысле проведения мероприятий власти по целому ряду вопросов. Имеющиеся в распоряжении СО ОГПУ агентурные данные стали подтверждаться на страницах периодической печати...»

К делу приложены вырезки из газет и журналов — пресса используется в качестве доносчика и провокатора.

В «Рабочей газете» от 12 мая некто А. Лясс пишет: «В так называемой Троице-Сергиевой лавре свили себе гнездо всякого рода «бывшие», главным образом, князья, фрейлины, попы и монахи. Постепенно Троице-Сергиева лавра превратилась в своеобразный черносотенный и религиозный центр,

причем произошла любопытная перемена властей. Если раньше попы находились под защитой князей, то теперь князья находятся под защитой попов...

Лавра — теперь музей — посещается рабочими экскурсиями. Казалось бы, этот музей мог стать великолепным орудием антирелигиозной пропаганды... Вскоре после Октябрьской революции монастыри — эти гнезда дармоедов и паразитов — были разогнаны. Однако монахи решили иначе и приспособились к существующим условиям... Такое положение дальше терпимо быть не может. Гнездо черносотенцев должно быть разрушено. Соответствующие органы должны обратить на Сергиев особое внимание».

Ляссу подпевал спецкор «Рабочей Москвы» М. Ам-ий (17 мая): **«Под новой маркой**

Древние стены б. Троице-Сергиевой лавры — безмолвные свидетели седой старины. Сколько могли бы они поведать миру о тех безобразиях, которые здесь совершались. Сотни и тысячи мрачных повестей крепко, упорно хранят они под пылью веков. Революционный штурм почти не тронул вековых стен бывшей цитадели разврата. И десять лет прошли мимо, не тронув этой плесени.

На западной стороне феодальной стены появилась только вывеска: «Сергиевский государственный музей». Прикрывшись таким спасительным паспортом, наиболее упрямые «мужи» устроились здесь, взяв на себя роль двуногих крыс, растаскивающих древние ценности, скрывающих грязь и распространяющих зловоние. Богатейший источник антирелигиозной пропаганды превратился в рассадник поповщины.

Поповские «труды»

Некоторые «ученые» мужи под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения. В большинстве случаев это просто сборники «святых» икон, разных распятий и прочей дряни с соответствующими текстами... Вот один из таких текстов. Его вы найдете на стр. 17 объемистого «научного» труда двух ученых сотрудников музея — П. А. Флоренского и Ю. А. Олсуфьева, выпущенного в 1927 г. в одном из государственных издательств под названием «Амвросий, троицкий резчик XV века». Авторы этой книги, например, поясняют: «Из этих девяти темных изображений (речь идет о гравюрах, приложенных в конце книги.— М. А.) восемь действительно относятся к событиям из жизни Иисуса Христа, а девятое — к усекновению головы Иоанна».

Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой «научной книги» на десятом году революции давать такую чепуху читателю Советской страны, где даже каждый пионер знает, что легенда о существовании Христа не что иное, как поповское шарлатанство.

Питая читателя такой дрянью, засев в стенах этого богатейшего хранилища, мужи всячески препятствовали тому, чтобы запыленные документы о прошлом лавры стали общим достоянием трудящихся масс...

Наконец-то!

Лишь на днях, в связи с шумом, поднятым газетами о Сергиеве, сюда прибыла комиссия Главнауки и опечатала архив... Но вот попробуйте теперь, проверьте и найдите виновников, когда главный хранитель архива, происходящий из князей, бывший тоже какой-то «преосвященный» отец Серафимович, кажется, на второй же день приезда комиссии взял да и умер...»

Дело «прокручивалось» быстро и «скопом»: 8 июня судьба всех арестованных по этому делу, содержащихся в Бутырках, была решена. В протоколе заседания Особого совещания при коллегии ОГПУ Флоренский идет под номером 25: «Из-под стражи освободить, лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, означенных губерниях и округах с прикреплением к определенному месту жительства, сроком на три года».

14 июля Флоренский отправляется в Нижний Новгород, выбранный им как место жительства «в распоряжение Нижегородского ОГПУ».

Служебная записка разъясняет процедуру высылки: «Обвиняемых надлежит отправлять, снабдив соответствующими проездными документами. Выезд каждого из осужденных должен быть произведен с таким расчетом, чтобы последние не имели возможности разгуливать свободно по городу, а были бы сопровождаемы на поезда сотрудниками».

К счастью, ссылка Флоренского длилась недолго. Последовало новое постановление Особого совещания: «досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР». Уже в сентябре он вернулся домой. Его оставили в покое на пять лет.

2

Второй арест последовал 25 февраля 1933 года. «Поп-профессор, по политическим убеждениям — крайне правый монархист»,— такая характеристика дана в справке на арест. «Член центра контрреволюционной организации «Партия Возрождения России». Обличается показаниями обвиняемых профессоров Гидулянова, Остроухова и члена контрреволюционной организации Жирихина».

Арест и обыск на московской служебной квартире Флоренского — Лефортово, Проломный переулок, дом 43, квартира 12 — производил сотрудник ОГПУ Корнеев. Изъято холодное оружие — кавказские клинки, шашка, тесак, охотничьи патроны, а также книги и две рукописи — «У водоразделов мысли» и «Воспоминания детства» (рукописи были вскоре возвращены жене Флоренского Анне Михайловне).

Вел дело уполномоченный ОГПУ Московской области Шупейко.

28 февраля датированы собственноручные показания Флоренского. В этом месте листы дела были подмочены, поэтому текст, написанный красными чернилами, поплыл, страницы будто залиты кровью. Писал Флоренский мучительно: сначала черновик на трех страницах, потом — на пяти — развитие версии и, наконец, дополнение — имена, схема контрреволюционной организации. «Сознавая свои преступления перед Советской властью и партией, настоящим выражаю глубокое раскаяние в преступном вхождении в организацию национал-фашистского центра...»

Что же случилось с Флоренским? Почему он вдруг начал клеветать на себя?

В деле сохранился документ, подробно излагающий весь ход следствия, вернее то, как следствием создавалось дело. Это письмо однодельца Флоренского, профессора-правоведа Павла Васильевича Гидулянова, написанное им прокурору уже после осуждения из ссылки в Алма-Ате. Гидулянов был арестован раньше Флоренского, в январе 1928 года, и поступил на следовательский «конвейер» первым. Он пишет:

«Началось с допроса, «како веруеши».

Все мои рукописания с ссылками на мою служебную и научно-литературную

Заключенный П. А. Флоренский. 1933 г. Фото из следственного дела НКВД.

«Схема структуры национал-фашистского центра», сделанная Флоренским под диктовку следователя.

Соловки, Ануфриевская церковь и кладбище (снимки в 30-е годы).

деятельность рвались, комкались и часто бросались в лицо.

На обвинение, что я монархист и верующий, я указывал, что убежденный монархист не напечатал бы статьи об обожествлении Романовых, а истинные православные пришли в ужас от моей научной и практической деятельности на страницах «Революции и церкви», журнала «Атеист», «Научный атеизм» и т. д. И после моей работы о колоколах порвали со мной общение.

На это мне было заявлено, что вся моя служебная и писательская деятельность — маскировка. В результате мой следователь — молодой человек Шупейко — сам формулировал мои контрреволюционные убеждения в таком стиле, от которого я пришел бы в ужас на воле, и заставил меня их подписать, заявляя, что убеждения у нас не наказуемы, и в случае, если я не подпишу его формулировку, то он за меня сам распишется.

После этого начался мучительный для меня период вынужденного признания меня участником контрреволюционной организации в составе профессоров — С. А. Чаплыгина, Н. Н. Лузина и П. А. Флоренского. Организация эта будто бы образовалась в 1932 году.

Из названных лиц с профессором Флоренским я никогда не был знаком и видел его в первый раз в жизни во время очной ставки в ОГПУ, почему принужден был ему отрекомендоваться...

Вся моя жизнь в 1931 и 1932 годах проходила на людях в непрерывной работе в Центральном антирелигиозном музее и Московском областном архиве, где я работал и денно, и нощно... Во избежание всяких разговоров и расспросов, что пишут за границей, я отказался в 1931—32 гг. от чтения иностранных газет. Опасаясь обвинения в связи с заграницей, я побоялся ответить берлинскому издателю на письмо разрешить перевести на немецкий язык и издать в Берлине мою книгу о колоколах.

Однако все мои заявления с просьбой проверить все сказанное встречались смехом и всякого рода издевательствами над моей личностью.

Пока дело шло о насилиях и грубостях, я держался стойко. Тогда перешли на другой путь. Отношение ко мне стало необычайно доброжелательным и мягким, меня перевели в камеру с улучшенным питанием. Шупейко заявил, что я — жертва, что я не знаю, что такое ОГПУ, что не надо никому верить, но только ему одному, ибо он мой судья, и следователь, и прокурор, и защитник, что мне ничто не угрожает, что меня выпустят на свободу и дадут по-прежнему заниматься наукой, но что мне нужно разоружиться, отдать себя целиком во власть и на милость ОГПУ.

Но для доказательности действительного разоружения мне нужно признать самого себя участником контрреволюционной организации, причем чем серьезнее будут возводимые на себя самого преступления, тем, значит, будет рассматриваться чистосердечнее — мое сознание и искреннее раскаяние.

Апологетом этой теории саморазоружения был некий агроном Колечиц, в камеру которого я был посажен. Через Колечица корректировались мои показания, указывалось, что я должен исправить, и Колечиц разъяснял, по его собственному выражению, «эзоповский язык СПО ОГПУ».

Лейтмотивом всего этого было то, что от меня в целях разоружения требуется не правда, а правдоподобие.

Как ученый историк-процессуалист, во всем этом я узрел своеобразную форму очистительного процесса, каким в раннее средневековье была purgato vulgaris, а позднее — purgato canonica, т. е. каноническое очищение, покоившееся на германском воззрении, что в случае заявленного подозрения, даже при отсутствии всяких улик, подозреваемый не считается невиновным, но для доказательства своей невиновности он со своей стороны должен совершить некоторые действия, которые служили бы подтверждением его невиновности. В феодальный период такими действиями были ордалии, «Суд Божий», затем присяга и т. д.

Усыпив себя учеными параллелями и будучи совершенно не искушен в приемах подобного образа действий следственных органов и во всякого рода провокациях, я уверения о разоружении принял за чистую монету и, чтобы угодить ОГПУ, стал «стараться», и чем больше требовали доказательства моего раскаяния, тем больше я сам на себя клепал.

При таких обстоятельствах я всецело отдал себя во власть СПО ОГПУ и сделался режиссером и первым трагическим актером в инсценировке процесса националистов, превращенных волею ОГПУ в национал-фашистов.

В целях саморазоружения я объявил себя организатором Комитета национальной организации, которая после ряда попыток в стенах ОГПУ была окрещена «национальным центром», причем членами этого мифического комитета были указанные мне и уже сидевшие в ОГПУ мои коллеги Чаплыгин, Лузин и Флоренский.

В видах вящего раскаяния главную роль пришлось мне взять на себя. Я де снесся с Флоренским в Загорске, а через него вступил в связь с Чаплыгиным и Лузиным. Так создался мифический комитет! Председатель — Чаплыгин, я — секретарь, Флоренский — идеолог и Лузин — для связи с заграницей.

Платформу партии националистов я же сам состряпал при любезном содействии начальника СПО **Радзивиловского,** собственноручно записавшего мое «развернутое показание».

Партия националистов открывает свои действия после взятия Москвы и военной оккупации России немцами, причем в основе платформы был положен принцип «Советы без коммунистов» под покровом буржуазного строя.

В результате этого фантастического «развернутого показания» Радзивиловским была мне обещана свобода и возврат к моим научным занятиям в архиве. Поощренный этим обещанием, я пошел дальше по пути самооговаривания и поклепа, главным образом на себя. Я признался, что я де и раньше принадлежал к организации «Возрождение России», о коей услышал лишь в ОГПУ от Шупейко, так как с петербуржцами Платоновым, Тарле, Лихачевым и др. не был знаком и не имел никакой связи...

Обработка меня Шупейко производилась таким образом, что он вызывал меня к себе и путем наводящих вопросов и подсказываний натаскивал в желательном ему направлении, затем все это я «переваривал». Таким образом получалось «литературное произведение» (выражение самого Шупейко), которое излагалось мною на бумагу, как «сущая» или «истинная» правда, под которой подписывался: «писал собственноручно и в соответствии с действительностью».

С течением времени откровенность Шупейко доходила до того, что я под его диктовку писал все, что ему хотелось и все это мною делалось и воспринималось, как разоружение. В награду за это обещалась свобода...»

Гидулянов стал настоящей находкой для ОГПУ. Он назвал десятки людей из среды интеллигенции — всех, кого мог вспомнить, и всех привязал, втянул в дело. Потом его формулировки следователь внедрял в показания других осужденных — слово в слово. Выстраивалась целая цепочка самооговоров, которая связывала всех вместе в единый «преступный» узел. По отношению к Флоренскому фантазия Гидулянова особенно разрезвилась: «Идеологом идеи национализма в духе древнемосковского православия, государственности и народности на правом крыле нашего ЦК был профессор Флоренский как выдающийся философ и богослов... Флоренский по нашему плану являлся духовным главой нашего «Союза», с одной стороны, и с другой — организатором подчиненных ему в порядке духовной иерархии троек среди духовенства московских «сорока сороков» и на периферии, а равно троек среди сохранившегося кое-где монашества...»

Дело состряпано. Нужные следствию показания дали и несколько других арестованных. Флоренский отрицает вину. Тогда следствие организует очную ставку его и Гидулянова.

Гидулянов: «На устроенном мне Радзивиловским свидании я убеждал профессора Флоренского последовать нашему примеру и чистосердечно сознаться, ибо он своим упорством препятствует нашему освобождению. Флоренский понял меня и тоже перешел на путь самооговаривания, что я понял со слов Шупейко, потребовавшего сообщить ему фамилию того немца-электротехника, с которым я будто бы был у Флоренского.

Я окрестил этого фиктивного немца «Людвигом Штейном» и сделал его иезуитом, делегированным де папой в Россию для свидания со мной в целях заключения унии...

Дальше с Национальным центром связали по моей линии некоего Остроухова с его будто бы организацией и некоего Каптерева... Непреодолимым и самым мучительным для меня требованием Шупейко было указать, кто входил в организации Остроухова и Каптерева, ибо, естественно, что я никого не мог указать и ссылался на слабость памяти. В июне — июле я со слов Шупейко написал неведомые мне фамилии нескольких лиц, входящих в организацию Каптерева. До этого ни лиц, ни фамилий этих я никогда не знал и не слышал».

Свидетельствует П. Н. Остроухов (письмо 28 мая 1937 г. Ежову с Соловков, с просьбой о помиловании):

«Меня обвинили и связали с какой-то организацией, о которой я и понятия не имел и не имею. Просидев в тюрьме с января по июль 1933 г. и доведенный до отчаяния и находясь в полной аберрации, боясь за судьбу своей семьи, чтобы спасти хоть ее от гибели, разорения и высылки, я принял на себя вину, сам не отдавая себе отчета, в каких преступных действиях против Советской власти я разоружаюсь и сознаюсь...

Снова честно заявляю, что с академиком Платоновым, ни с другими контрреволюционными группами и организациями я ничего не имел и принял на себя вину, исключительно желая спа-

В гостях у ОГПУ. М. Горький на Соловках. 1929 г.

сти свою семью от всяких излишних терзаний и неприятностей и желая вообще спасти ее от гибели...

Доведенный до отчаянья, находясь в аберрации и полунормальном состоянии, я и принял на себя вину, не зная, в чем виноват, особенно за последние одиннадцать лет своего проживания и работы в Москве на глазах ОГПУ».

Свидетельствует С. Н. Каптерев (показания при реабилитации, в 1958 г.):

«Следствие велось в грубейшей форме (матерной) и сводилось к требованию признания, что я состою в тройке активных врагов Советской власти, в одной организации с профессорами Чаплыгиным, Лузиным, Флоренским, Любовским и другими, которых теперь уже не помню и которые давно умерли... Никаких конкретных обвинений и ни единого факта мне предъявлено не было, не показано никаких документов... Все мои показания, имеющиеся в деле, составлены следователем и предъявлены в готовом виде для подписи под угрозой расстрела и содержали туманную политическую программу, заимствованную ее автором — следователем — по-видимому, из программы партии кадетов...

P. S.: Могу еще дополнить, что мой брат Павел Николаевич Каптерев, привлеченный со мной одновременно по тому же делу, рассказывал мне после своего освобождения, что следствие велось теми же следователями с применением тех же приемов в виде угроз расстрелом...»

Итак, следствие использовало весь набор средств: запугивание, принуждение, обман, подкуп, провокатора — и в конце концов добилось своего, выжало из арестованных признание «вины». 3, 4 и 5 марта на допросах Флоренский уже повторяет версию Гидулянова, «развив» ее по требованию следователей. Тяжело читать все эти фантастические выдумки, похожие на бред. Роль Флоренского в этом театре абсурда трагична. И все же добавления его, по сравнению с версией Гидулянова, местами весьма любопытны — их «контрреволюционность» напоминает «революционность», новации нынешней перестройки. Создается впечатление, что Флоренский иногда использовал лживый сценарий, чтобы выразить некоторые истинные свои соображения, непроизвольно высказывал сокровенное.

Например: «В основу народного образования должны лечь принципы децентрализации, дезунификации: средние и высшие школы должны быть разбросаны по возможности вне больших городов, причем должно быть создано много различных типов... Особое внимание должно быть обращено на создание литературы для широких масс — учебников, справочников, техпропаганды и прочей литературы, которая поручалась бы самым первоклассным силам страны.

В отношении промышленности должен быть проведен лозунг качества как борьба против дешевки и низкого качества продукции, связанных с чрезмерностями конвейерной системы; в частности, мерою в этом случае могло бы служить создание заводов не слишком большого размера, что, естественно, получилось бы при ограничении капитализма... В области сельского хозяйства борьба за качество должна выразиться в значительном усилении работ по селекции и создании особых инспекторов качества культивируемых пород, не говоря о других общеизвестных мерах...»

Видно, как Флоренский, борясь с собой и уступая своему чистосердечию, порой по существу перечеркивает смысл своих «признаний», открывает правду: «Тактические мероприятия национал-фашистским центром были весьма не разработаны и составляли самое слабое его место. Объясняется это участием деятелей науки, которые никогда не были политиками и не принимали участия в деятельности ни подпольной, ни надпольной... Тактические мероприятия всегда оставались на последнем месте и для нахождения их форм ни у кого из участников не хватало ни знаний, ни опыта, ни веры...» Флоренский чертит и схему организации, тут же добавляя, что она «фактически не реализовывалась» и что о «фактическом привлечении» указанных в ней лиц ему «ничего не известно».

И дальше уж совсем удивительное признание: «Я, Флоренский Павел Александрович, профессор, специалист по электротехническому материаловедению, по складу своих политических воззрений романтик Средневековья примерно XIV века...» Такой вот фашист!

4 марта, видимо, с целью найти компромат, был произведен еще один обыск на квартире Флоренского. Протокол обыска — интересное описание дома ученого, антураж которого явно поразил сотрудников ОГПУ — в записи проглядывает и удивление, и зависть.

«При обыске изъято ничего не было, так как книги «Столп и утверждение истины» и других книг по мистике, а также порнографии не оказалось. Жена Флоренского... очевидно, была готова к обыску, она заявила нашему сотруднику: «Вы, очевидно, ищете его рукописи»,— и, открыв большой шкаф, показала очень большое количество «папок для бумаг», в которых хранятся рукописи мужа по разным вопросам науки, связанным с его работой в институте. Флоренский занимает большой собственный дом в пять-шесть больших комнат, имеет кабинет, в котором сосредоточена его громадная библиотека, находящаяся в шкафах размером вплоть до потолка (как в кабинете, так и в соседней комнате). Кроме этого у него имеется ряд коллекций по старинной монете, металлу и другим ископаемым...»

Красочное описание библиотеки, видимо, не осталось без внимания на Лубянке — вскоре ее увезут.

Был и третий обыск — 25 ноября — не обыск, а настоящий разбой, учиненный неутомимым Шупейко. Они явились в отсутствие хозяев, вырезали замок из входной двери, взломав комнату сына Флоренского, забрали часть его вещей, прихватили даже посуду на кухне, потом произвели опись вещей в двух опечатанных комнатах с целью их конфискации, запретив управдому показывать эту опись хозяйке.

В мае главный редактор «Технической энциклопедии», известный революционер Людвиг Карлович Мартенс делает мужественную попытку помочь Флоренскому. Он направляет в ОГПУ, на имя Миронова, письмо: «Во время процесса вредителей я обращался к Вам с просьбой обратить внимание на профессора П. А. Флоренского, арестованного органами ОГПУ еще в феврале с. г. Профессор Флоренский является одним из крупнейших советских ученых, судьба которого имеет очень большое значение для советской науки вообще и для целого ряда наших научных учреждений. Будучи уверен, что его арест является плодом недоразумения, еще раз обращаюсь к Вам с просьбой лично познакомиться с делом. С коммунистическим приветом».

Обращение это было оставлено без внимания.

30 июня Радзивиловский утверждает обвинительное заключение — целый «труд» на тридцати страницах. «ОГПУ Московской области раскрыта и ликвидирована контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшая себя «Партией Возрождения России». Все правильно, заслуга действительная, надо только добавить, что и создана была эта партия тоже ОГПУ!

Организацию возглавлял руководящий центр в составе профессоров Флоренского, Гидулянова и академиков Чаплыгина и Лузина. Она возникла фактически из уцелевших от разгрома остатков ликвидированной ОГПУ в 1930 г. монархической организации «Всенародный Союз борьбы за возрождение России», возглавляемой академиком Платоновым и др. Была установлена связь и с белогвардейской эмиграцией и устроено конфиденциальное свидание с Гитлером...» Вот ведь как разыгралась фантазия!

Всего в обвинительном заключении фигурирует двенадцать человек, из них, по случайности, кроме Флоренского, еще пять Павлов, в том числе и Гидулянов, и Остроухов, и Каптерев... Материалы об академиках Чаплыгине и Лузине из дела выделены (стало быть, пока отложены), но с такой пометкой: «Окраска: контрреволюционная интеллигенция». До другого раза! Гидулянов писал в своем письме в 1934 году: «Лишение меня возможности научной работы для меня особенно обидно при сравнении моей участи с положением моих сопроцессников — профессора Чаплыгина и Лузина. Благодаря своей специальности оба они не только на свободе, но еще недавно профессор Чаплыгин удостоен ордена Красного Знамени».

Обвиняемые «виновными себя признали полностью». Дело было представлено на рассмотрение Особой тройки ОГПУ Московской области. Через месяц, 26 июля, Флоренский был осужден «тройкой» по статье 58 пп. 10,11 на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Подробности «суда» — тоже в письме Гидулянова: «Перед свиданием с прокурором в июле 1933 г. Шупейко натаскивал меня в том, как я должен держать себя с прокурором и что я ему должен показывать, причем советовал мне не церемониться с прокуратурой, так как моя судьба зависит не от прокурора, но от ОГПУ, ибо в тройке ОГПУ — два члена от ОГПУ и один от прокуратуры.

При таких условиях для меня явился полной и ошеломляющей неожиданностью перевод 31 июля в Бутырки и сообщение 1 августа приговора о высылке этапом в Казахстан сроком на десять лет со сдачей дела в архив...

Тут только я понял, в какую пропасть меня под флагом разоружения довели моя доверчивость, неопытность «в сих делах» и отсутствие гражданского мужества.

Делая постановление о моей высылке, руководители СПО ОГПУ не могли не знать, что все мои показания — липа. Они отлично понимали, что все мои показания — «литературные произведения» и инсценировка и притом неумная, так как при проверке все рухнет, как карточный домик...»

Рухнуло — но только через четверть века. При реабилитации в постановлении Московского горсуда было сказано: «В деле не имеется материалов, которые послужили бы основанием к аресту Флоренского (и других лиц, проходивших по делу). Свидетели не допрашивались, лица, принимавшие участие в расследовании данного дела, осуждены за фальсификацию. Флоренский (и другие лица) осуждены были несправедливо при отсутствии доказательства их вины».

В конце своего письма Гидулянов подвел итог случившемуся: «Ссылку я воспринял как. заслуженное мною возмездие за мою мягкотелость и глупое поведение в ОГПУ и с ссылкой ныне я примирился... Я опасаюсь мести со стороны агентов ОГПУ. Они грозили Соловками моей жене в случае обращения с жалобой о конфискации моей библиотеки. Отсюда я боюсь, что эта же участь постигнет меня, если я лично обращусь с заявлением об отмене несправедливого постановления о конфискации моего научного кабинета...

Настоящее письмо к Вам — это моя тайная исповедь, по отношению к которой я прошу соблюдения тайны исповеди. Сам я пишу эту исповедь в одном экземпляре и без черновиков, хотя от меня в ОГПУ не взяли ни подписки, ни честного слова о тайне всего там происходящего, но все же я не хочу огласки всего происшедшего со мною в стенах Московского ОГПУ: пусть все это останется в тайне и умрет вместе со мной.

Прося прощения за мою откровенность, остаюсь всегда готовый к Вашим услугам, профессор П. Гидулянов. «Dixi et animam levavi». («Я сказал и облегчил душу». — **Лат.**).

«Умрет вместе со мной...» Тут он ошибся. Адресат Гидулянова, получив письмо, тут же отдал его в ОГПУ, где его и пришили к делу. Своей старательностью перед следователями Гидулянов заработал себе более мягкий приговор в сравнении с другими — высылку вместо концлагеря. Но не спасся и письмом своим, может быть, приговорил себя: в 1937 году он был вновь арестован и расстрелян.

Дальнейшие подробности о Флоренском можно узнать из доверенности на получение денег и вещей, отобранных у него при аресте,— эту доверенность Флоренский писал для жены 19 октября уже в 5-м лагпункте Бамлага. Флоренский делает из доверенности как бы письмо, старается побольше сообщить о себе. 9 августа его перевели в пересыльный корпус Бутырской тюрьмы, а 13 августа отправили по этапу в Сибирь. Откуда, как известно, через год он был перевезен на Соловки.

3

Мы приближаемся к роковому рубежу, к последним годам, месяцам, дням жизни Павла Флоренского.

В середине второго тома следственного дела 1933 года вшито еще одно дело, попавшее сюда с Соловков, под своим, особым номером.

Это дело в деле начинается «Справкой на Флоренского П. А.», без даты, но с подписью начальника Соловецкой тюрьмы ст. майора Аптера и его помощника капитана Раевского. Справка гласит: «В лагере ведет контрреволюционную деятельность, восхвалял врага народа Троцкого».

Далее следуют один за другим однотипные документы с пометкой «Совершенно секретно» — так называемые «агентурные донесения», а проще — доносы лагерных стукачей, которые, как оказалось, плотно «держали» Флоренского на Соловках и докладывали начальству о каждом его шаге. Так вот, получается, что благодаря их усердию мы можем теперь узнать кое-что о последней поре жизни Флоренского. Каждая такая бумажка помечена еще крупными буквами «АСЭ» — «антисоветский элемент» Сокращения з/к и с/с расшифровываются соответственно — заключенный и секретный сотрудник. Доносы именуются «рабочими сводками», указано и подразделение, стерегущее Флоренского,— группа СПО, 3-я часть 8-го Соловецкого отделения ББК (Беломорско-Балтийского канала).

Вот несколько образцов этого жанра.

«С/с "Хапанели"

Прин.[ял] нач. 3 ч.[асти] Акимов

23 сентября 1935 г.

1935 г. 10 сентября, в комнате кузнечного корпуса, где живут профессор Флоренский П. А., Литвинов и Брянцев, велся разговор на следующую тему:

Брянцев говорит, что он слышал по радио, где передавали, что в Австрии за антигосударственные преступления дали: одному полтора года, другому — 10 месяцев и третьему — 9 месяцев каторжных работ. Далее он поясняет, что если бы у нас в СССР сделать такое преступление, то наверняка дали бы «вышку» или в лучшем случае — 10 лет через «вышку».

Флоренский говорит, что «да, действительно, у нас в СССР... карают даже ни за что».

Далее разговор переходит на тему о том, как кто сидел на Лубянке и кого как допрашивали.

Флоренский говорит, что меня следователь допрашивал все о том, чтобы я назвал целый ряд фамилий, с которыми я якобы вел несуществующие в деятельности контрреволюционные

разговоры. Но после моего упорного отрицания мне следователь сказал, что-де, мол, нам известно, что вы не состоите ни в каких организациях и не ведете никакой антисоветской агитации, но на вас, в случае чего, могут ориентироваться враждебные Советской власти люди, что вы не устоите, если вам будет предложено выступить против Советской власти. Вот почему, говорит далее Флоренский, дают такие большие срока заключения, то есть ведется политика профилактического характера, заранее предотвращают преступления, которые и могут даже быть. Следователь мне и далее говорил (говорит Флоренский), что мы не можем так поступать, как поступало царское правительство, которое показывало на совершившиеся преступления, нет, мы предотвращать должны, а то как же так, ждать, пока кто-либо совершит преступление, тогда его и наказывать, нет, так далеко не пойдет, надо в зародыше пресекать преступление, тогда будет прочнее дело.

После этого Литвинов говорит, что при такой политике весь СССР перебудет в лагерях...

Брянцев говорит о том, что настоящее внутрипартийное положение таково, что даже нет покоя и членам партии.

Флоренский: «Да, очень много сейчас сидят в изоляторах видных старых большевиков...»

Флоренский и Брянцев говорили о Германии, о политике Гитлера, что политика Гитлера очень схожа с политикой СССР (Брянцев). Правда, она, эта политика, очень грубая, но довольно меткая (Флоренский)...

13 сентября с. г. в помещении кузнечного корпуса з/к Флоренский Павел Александрович разговаривал с з/к Литвиновым Романом Николаевичем на тему о лагерной жизни, и оба они рассказывали друг другу, за что высланы на Соловки.

В процессе разговора Литвинов сказал: «К концу второй пятилетки половина СССР перебудет в лагерях, так как хватают всех и как попало».

Продолжая этот же разговор, з/к Флоренский высказывался: «Наша жизнь после лагерей будет вся измята, и если, после нашего освобождения, возникнет в стране какое-либо явление ненормального характера, то нас сейчас же опять в первую очередь посадят».

Продолжая беседу, з/к Литвинов сказал: «Со мной во время предварительного следствия сидел один человек (фамилию он не назвал), который получил три года за то, что стрелял в портрет Калинина в пьяном виде».

На это з/к Флоренский ответил: «Неужели Калинин так высоко котируется?»

Фигуранты состоят под агентурным наблюдением».

На донесении имеется резолюция: «Т. Акимову. На этих зз. обратить особое внимание. Они работают вниилоболотории». Так в оригинале!

Реагирование з/к на постановление правительства от 14 и 22 сентября 1935 г.

С/с «Хапанели»
26 сентября 1935 г.

25 сентября с. г. в помещении кузнечного корпуса з/к Флоренский Павел Александрович, беседуя с з/к Брянцевым Николаем Яковлевичем и Литвиновым Романом Николаевичем на тему о введении персональных военных званий нач. составу РККА, высказывался: «В этом постановлении чувствуется тенденция на проявление сходства с буржуазными армиями, в частности с французской. В общем, все-таки не совсем понятно введение в нашей армии чинов. Ведь раньше у нас эти чины, которые вводятся, например, полковник и др., были просто ругательными словами. Выходит так, что против чего раньше боролись, теперь к этому возвращаемся снова».

Приписка к донесению: «З/к Флоренский является учетником СПО, как АСЭ. Агнаблюдение за ним продолжается».

Политнастроения

С/с «Евгеньев»
Пр.[инял] уп. СПО Кузьмичев
15 января 1936 г.

З/к Флоренский Павел Александрович 15 января, беседуя с з/к Гендлиным по вопросу о возможностях досрочного освобождения из лагеря, говорил последнему: «Я лично от такого рода освобождения хорошего ничего не жду. Сидеть в лагере сейчас спокойнее, так как не нужно ждать, что тебя каждую ночь могут арестовать. А ведь на воле только так и поступают, как только придет ночь, так и жди гостей, которые пригласят тебя на Лубянку».

«Ист.[очник] «Евгеньев»
Пр.[инял] Монахов
26 декабря 1936 г.

З/к Флоренский П. А. (быв. профессор): «Я Ипатьева и... не осуждаю, и не одобряю: каждый человек является хозяином своей судьбы. Человек все взвесил и решил, что остаться там для него правильней будет, и он остался. Вопрос об измене трудно к ним применить, так как они никому не изменяли, а просто решили жить лучше вне радиуса действий наших лагерей».

Ист.[очник] «Товарищ»
Пр.[инял] Кузьмичев [Дата не указана.]

З/к Флоренский разговаривал с з/к Шаш у туннеля о последних известиях из-за границы. Между Флоренским и Шашем зашел спор о начале войны. Флоренский утверждал, что предположения стратега, известного на весь мир, а теперь и идеолога партии Троцкого, о том, что война начнется в 1937 году,— оправдается... Здесь же Флоренский привел довод, что периодически война вспыхивает через 15—20 лет.

Приятели шли к библиотеке, во весь голос разговаривая, жестикулируя. За ними шел я. По приходу в библиотеку разговор прекратился».

И вот перед нами узкая полоска бумаги, согнутая пополам. На одной стороне: «190. Флоренский Павел Александрович...» На другой: «Флоренского Павла Александровича — расстрелять». И жирная красная галочка. А на обороте листка «Выписка из протокола заседания Особой тройки УНКВД Ленинградской обл. № 199 от 25 ноября 1937 г.»: «Верно» — «за секретаря Тройки нач. 3 отд. 8 отдела УНКВД, лейтенант ГБ Сорокин».

Самый последний документ этого «дела в деле» — в желтом конверте:

АКТ

«Приговор Тройки УНКВД Ленинградской обл... в отношении осужденного в ВМН Флоренского Павла Александровича приведен в исполнение 8 декабря 1937 г., в чем составлен настоящий акт. Комендант УНКВД Ленинградской обл. ст. лейтенант Поликарпов».

Круглая печать.

Вот и известны теперь нам и место гибели — Соловки, и точная дата смерти, и имена убийц. Отыскалась в архивах КГБ и одна рукопись Флоренского — внуки готовят ее сейчас к публикации, и, надо надеяться, мы скоро ее прочтем.

Что такое величие? Не знаю. Знаю лишь то, что оно есть.

Есть и святость, хоть она и невидима, как невидим нимб вокруг лика Павла Флоренского.

В одном из последних писем с Соловков — 13 февраля 1937 года — Флоренский писал: «...Удел величия — страдание — страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так — вполне ясно; это — отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия... Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания».



Никита Богословский с Ивом Монтаном и Марком Бернесом.

ПОЗИЦИЯ

...УЦЕЛЕЛ, ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ

С народным артистом СССР Никитой БОГОСЛОВСКИМ беседует наш корреспондент Анастасия НИТОЧКИНА.

БОГОСЛОВСКИЙ Никита Владимирович (р. 9 (22). V. 1913, Петербург) — сов. композитор. Засл. деятель иск-в РСФСР (1968). В 1927—1928 учился композиции у А. К. Глазунова. В 1930—1934 вольнослушатель Ленингр. консерватории (класс композиции П. Б. Рязанова; полифонии, инструментовки, анализа муз. форм — Х. С. Кушнарева, М. О. Штейнберга, В. В. Щербачева). С 1971 пред. комиссии композиторов Союза кинематографистов СССР. Вице-президент общества «СССР — Франция» (с 1965).

Б.— мастер песенного жанра, автор около 300 песен. Среди них — «Любимый город» и «Лизавета» (сл. Е. А. Долматовского), «Спят курганы» (сл. Б. С. Ласкина), «Темная ночь» (сл. В. И. Агатова), «Три года ты мне снилась» (сл. А. И. Фатьянова). Произв. Б. привлекают задушевностью мелодики, теплотой лирич. высказывания.

(Музыкальная энциклопедия, Москва, 1973)

Есть люди, чья прижизненная слава удостаивается такой вот косноязыкой энциклопедической скороговорки. Есть люди, чья слава, напротив, существует как бы вне и помимо официоза — в байках и анекдотах, в пересудах и сплетнях. Так вот, Никита Богословский — из тех немногих, кому удалось соединить и то, и другое: он занял место не только в учебниках и энциклопедиях, но и в современном фольклоре...

— Никита Владимирович, вам есть в чем покаяться?

— В моей биографии есть один стыдный факт: я не сидел.

— Только один?

— В том смысле, какой вы сюда вкладываете,— пожалуй, да. За всю жизнь не написал ни одной героической песни. Про партию не писал. Даже про Сталина не писал — что по тем временам трудно было назвать распространенным явлением. При этом меня не только не сажали, но и не сняли ни одного моего сочинения.

— Неужели придворная чаша вас миновала вчистую, не задев даже краем?

— Да я даже в правительственном концерте впервые принял участие года четыре назад. Раньше меня не звали. Для подобных концертов палочкой-выручалочкой всегда были сочинения Туликова и Мурадели. Они умели писать музыку даже на тексты тассовских телеграмм. Я таким искусством не владел.

— И все же вам наверняка приходилось бывать на встречах, которые устраивались партийным руководством для деятелей искусства. Наверняка вы были знакомы со Ждановым...

— Жданова я видел мельком. В конце 40-х годов в ЦК собирали музыкальных деятелей. Не помню, на каком этаже стояли столики в шахматном порядке. За каждым столиком сидело четыре человека — три музыкальных деятеля, а четвертого, как правило, никто не знал. Все заседание эти самые «четвертые» что-то строчили в своих тетрадках... Я сидел с Самосудом и Соловьевым-Седым. Прокофьев Сергей Сергеевич опоздал и сел где-то впереди. Он был в пимах, с огромным толстым портфелем и со значком лондонского королевского общества. Было душно, он выглядел уставшим... Сел, закрыл глаза и, наверное, задремал. Сидевший рядом Шкирятов вдруг громко, на весь зал сказал: «Прокофьеву не нравится речь Андрея Александровича. Он заснул». Прокофьев открыл глаза и спросил: «А вы, собственно, кто такой?» Шкирятов показал на свой портрет, висящий на стене, и говорит: «Вот это я». Прокофьев очень удивился: «Ну и что?» Тогда встал Попов, секретарь ЦК, который вел это собрание, и сказал: «Товарищ Прокофьев, вы тут шумите, а если вам не нравится речь Андрея Александровича,— можете уйти!» Прокофьев встал и ушел...

Так что Жданова я наблюдал только на этом совещании. К счастью... Иначе при своей болтливости я запросто мог бы загубить свою будущую карьеру.

— Даже Хрущев вас не приблизил «ко двору»?

— Никогда. Но с Хрущевым связана



Вожди. Вверху — Н. Богословский. Внизу — Н. Хрущев, М. Суслов и Е. Фурцева

одна смешная история. Однажды я дирижировал на радио, и вдруг какой-то музыкант обращается ко мне с вопросом и называет меня Никитой Сергеевичем... Я ответил: «Между мной и Никитой Сергеевичем есть разница, он пишет ноты, а я — музыку». Кто-то «стукнул» в Союз композиторов. Меня вызвали и сказали: «Ты что, с ума сошел, что ты себе позволяешь?! Неуместны твои дурацкие шутки с главой государства...» Я говорю: «А пошел он на...» «Как?! Завтра же ставим вопрос на секретариате». И я почему-то брякнул: «А ты вообще газеты читаешь? Сегодняшнюю прочитал?» Хотел на испуг его взять, а оказалось — попал в точку. Там было правительственное сообщение, которое начиналось словами: «В связи с состоянием здоровья Никиты Сергеевича Хрущева...» ...Через час я зашел в кабинет этого функционера от искусства, так он уже портрет со стены успел снять. Колоссальное совпадение. Вообще мне всю жизнь очень везло. Сам не понимаю, как мне удалось избежать серьезных неприятностей. Должен был бы схлопотать очень сильно... И из-за своего языка. И из-за того, что никогда не придерживался того жанрового направления, к которому призывала наша родная коммунистическая партия.

— Догадываюсь, что вы в нее не вступали. По убеждению или не звали?

— Недавно коллега мне пожаловался: «Как жаль, что я не член партии, с каким бы удовольствием я из нее вышел!» Эта партия мне никогда не нравилась. Я же русский дворянин. И поэтому заинтересовался, узнав, что в Москве создано Дворянское собрание (даже на календаре адрес записал — ул. Разина, 8„б").

Моей семье принадлежало два имения в Новгородской и Псковской губерниях — Карповка и Березайка. Дед был камергером. Помню, в детстве у нас дома висел его портрет в парадном мундире. После кировских дел моя бабка, которую, между прочим, Чайковский приглашал на премьеру «Пиковой дамы», тушью зачернила на портрете мундир, и дед стал похож на председателя леспромхоза. Потом она его вообще сожгла. Мне было это неприятно, да и жалко, потому что это был один из карандашных эскизов Репина к его картине «Заседание государственного совета»... Да нет, какая может быть партия в моей жизни? Я сам себе партия, которая называется НВБ. Короче говоря, КПСС — не мое ведомство. Впрочем, и не звали, конечно.

— Вот хотелось бы понять, почему.

— Думаю, что меня всегда считали сомнительным. Слишком много смеялся. Поэтому, наверное, и всякие разоблачительные письмишки не присылали мне на подпись — по поводу Сахарова, Солженицына. Так что Бог миловал — ни одного письма я не подписал.

— Кто-то, не помню, гордился, что ни разу не продался. «А вас покупали?» — спросили его...

— Понимаю. Еще когда мне было шестнадцать лет, я ушел из дому, потому что уже в том возрасте не хотел ни от кого зависеть, даже от родителей. Я жил на чердаке, зарабатывал тем, что давал уроки французского нэпманским детям. Зимой на этом чердаке было довольно холодно, но я не хотел расставаться со свободой и возвращаться домой. Один носок у меня был красный, другой — зеленый. Спал я, прячась в полярном спальном мешке, который мне когда-то подарил Отто Юльевич Шмидт. А я любил и сейчас люблю «красивую жизнь». Я пижон. И эту жизнь можно было иметь гораздо раньше, чем досталась она мне. Я «заслуженного» получил в 55 лет; «народного РСФСР» — в 65. К семидесятилетию Союз композиторов представил меня на орден Дружбы народов. Но в верхах заменили званием «народный артист СССР»...

— Ну а все-таки, если бы так называемое «высокое начальство» предложило вам подписать какую-нибудь, я извиняюсь, парашу?

— Вам надо объяснять, куда бы я их послал?

— Предположить не трудно. Проверить сложно. Но странно, что власти не пытались сделать вас «своим». Они же всегда хотели заполучить всех популярных людей, кто хоть как-то может влиять, так сказать, на умы...

— Я думаю, что они никогда не относились ко мне серьезно. Считали трепачом, шутом... Поэтому я и не был ни в какой обойме. Я и в перечень людей, подписавших правительственный некролог, попал только один раз и то без своего согласия — по поводу кончины Шульженко. Да еще раз по поводу смерти Блантера. Тут меня, правда, спросили. Мы всю жизнь были врагами, но я уважал его как композитора и поэтому согласился.

— А оппозиция,— как она относилась к вам? Какие у вас были отношения с диссидентами — и были ли?

— Однажды я получил по почте написанное на папиросной бумаге письмо в защиту Синявского. Их рассылала всем Лариса Богораз. Вот его я бы с удовольствием подписал. Но потерял где-то. Года два назад мы ужинали с Синявским в ресторане в Париже, и я рассказал ему эту историю.

— Вы как бы та исключительная фигура в нашем обществе, которая умудряется оставаться вне политики?

— Активно никогда не внедряюсь в политическую жизнь, считаю, что этим должны заниматься профессионалы. Но в силу своих профессий — композитора и литератора — я неизбежно верчусь внутри политики, «преломляя ее сквозь призму художника», как любят у нас выражаться.

— А как именно преломляете?

— Ну вот, например. Однажды я должен был лететь в Париж. Накануне позвонил по делу своему другу, поэту Михаилу Матусовскому. Выяснилось, что он тоже в составе писательской делегации улетает на следующий день в Париж. Я не стал раскрывать карты и сказал, что хочу его проводить и заодно поговорить о деле. Встречаемся в Шереметьеве. Проход для туристических групп и деловых поездок был в разных местах. Я быстренько все оформил (меня там хорошо все знали) и прогуливаюсь с Матусовским, пока вся группа собирается. Наконец он говорит: «Ну что, прощаемся? Я в дороге обдумаю твое предложение». Я сказал, что хочу еще немного его проводить. Быстро прошел внутрь, пока их группа собиралась, подошел к пограничнику, который должен поставить штамп в паспорте. Они меня все прекрасно знали — иногда даже просили автографы. Штамп он мне поставил и разрешил немного погулять на нашей территории. Я подхожу к Матусовскому и говорю, что хочу проводить его до самолета. Он был в панике: там же нейтральная территория начинается! Когда мы подошли к паспортному контролю и меня пропустили без предъявления документов, писатели стали на меня смотреть как на нашего шпиона. Сажусь в самолет и говорю, что хочу проводить их до Парижа. Зашел в кабину пилота, спросил о погоде, о высоте полета и т. д. А писателям сказал, что командир корабля разрешил мне слетать в Париж, но из самолета не выходить. Летим. После приземления я сказал писателям, что мне разрешили дойти с ними до паспортного контроля. Пока они собирались и пересчитывали друг друга, я проделал то же самое, что на советской границе, тем более что там работал мой друг Жак. Он поставил мне штамп, и когда я появился в окружении писателей, Жак просто отдал мне честь, и я беспрепятственно преодолел паспортный контроль. Так и не поняли они — чей же я шпион? Правда, потом увидели группу встречающих меня людей. И догадались, что все это был розыгрыш. Но это была только первая серия. Через несколько дней на бульваре я встретил нескольких писателей из этой делегации. Они поздравили меня с удачной хохмой. А я сквозь искусственно вызванные слезы сказал: «Ребята, у меня сложности с Союзом композиторов, поэтому я решил остаться здесь. Навсегда. Не считайте меня предателем, но там я больше жить не могу». Все оцепенели. Представляете, по тем временам, в 64-м или в 65-м!

За углом меня ждала машина. Я точно рассчитал. Приехал в посольство, где меня, естественно, тоже хорошо знали, в придачу и как вице-президента общества «СССР — Франция». Я рассказал друзьям, сотрудникам посольства всю историю — они посмеялись. Посол был в отпуске, и меня пропустили в его кабинет. Не прошло и получаса, как встреченные мною писатели (кроме Матусовского) явились на меня стучать. Как честные граждане. Представляете их реакцию, когда из комнаты посла вышел я и спросил: «Товарищи, вы ко мне?»

— Вряд ли у вас хорошие отношения с Хренниковым...

— Недавно я подсчитал, кто из деятелей всего мира и разных эпох дольше занимал руководящее положение.

1. Людовик XIV. Его короновали младенцем, и он правил 72 года.
2. Австрийский император Франц Иосиф — 68 лет.
3. Английская королева Виктория — 64 года.
4. Японский император Хирохито — 62 года.
5. И, наконец, наш Тихон Хренников — 42 года. Нет в нашей стране человека, который занимал бы руководящий пост так долго.

— Он столь универсален, что подходит под все режимы? Чем можно объяснить, что в перестроечное время его вновь избирают первым секретарем Союза?

— Этот факт говорит не о Хренникове, а о полнейшей инертности рядовых членов Союза композиторов. Хотя человек он действительно незлобивый и даже много хорошего сделал. Но меня он, по-моему, не любит. Возможно, не может простить эпиграмму.

— А что за эпиграмма?

— Его жена — очень умная, деятельная, властная женщина. Ее девичья фамилия Вакс. Клара Вакс. А у Шумана была жена — знаменитая пианистка — Клара Вик. Сам Бог велел написать стихи.

Карьеру всяк испортит вмиг,
Сказавши необдуманно,
Что Кларе Вакс до Клары Вик,
Как Тихону до Шумана.

— Неужели даже с ним, даже в Союзе композиторов у вас не было неприятностей?

— Ну почему же. Меня исключали. Дважды.

— За что?

— Один раз мы с Сигизмундом Кацем были где-то на гастролях. Концерты состояли из двух отделений. И мы решили для экономии времени выступать одновременно в двух местах. В антракте переезжали с площадки на площадку. Один раз я пошутил. Вышел играть первое отделение и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Сигизмунд Кац» — и сыграл все, что он играет в концерте. Потом в антракте мы поменялись местами. Выходит он на сцену: «Здравствуйте, меня зовут Сигизмунд Кац». И принялся за свою программу. Зрители зашумели, разразился дикий скандал. Какой-то военный написал

письмо в Союз композиторов. Собрали секретариат, и меня на три месяца исключили из Союза.

Другой раз мне объявили выговор за то, что, будучи в Одессе на Привозе, я купил там заграничные консервы и рубашки. Со мной еще были Миронова и Менакер. И в «Советской культуре» появился фельетон, что мы, дескать, не довольствуемся советской продукцией, а шляемся по каким-то привозам. Я получил строгий выговор, а Кабалевский даже настаивал на исключении.

В третий раз у меня были неприятности, когда я пришел в ЦДРИ со своим приятелем — советником по культуре югославского посольства. Отношения с Югославией у нас были сложные. Мне шили политическое дело и исключили из Союза насовсем за отсутствие политической бдительности. Вот тогда я разозлился. Позвонил Фурцевой и заместителю министра иностранных дел Фирюбину. Через несколько дней куда-то пропали протоколы собрания, на котором меня исключали, и я опять — член четырех Союзов: композиторов, киношников, журналистов и СТД.

— А с Фурцевой вы дружили?

— Были в добрых отношениях. Она даже приходила ко мне в гости. Была очень славной, милой женщиной, всем своим существом старалась понять, что такое культура и искусство. Правда, мало что у нее получалось. Иногда она бывала просто очаровательной, мягкой, а иногда — фурия. Однажды я спросил своего покойного друга Сигизмунда Каца: «Что это с нашей Катериной происходит? То она так, то эдак...» Он мне совершенно резонно ответил: «Мы настолько не привыкли, что женщины могут быть министрами, что забываем: ведь и у министра бывают декретные дни...»

— Вы ощущали на себе влияние ЦК или Министерства культуры?

— У меня есть балет «Королевство кривых зеркал» по известной сказке Виталия Губарева, который, в свою очередь, увел сюжет у Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». У нас вообще это дело любили. Волков, написавший «Волшебника Изумрудного города», использовал сюжет Ф. Баума... Если уж на то пошло, то и Толстой «Пинокккио» позаимствовал, сочинив «Буратино»... Ну вот, этот балет был принят к постановке в пяти театрах. И ни в одном не пошел из-за того, что работающие в ЦК три мудреца и члена Союза композиторов Ярустовский, Хубов и Апостолов не любили меня за излишне веселый нрав.

— Про вас говорят, что вы единственный человек, сочиняющий анекдоты. Это правда?

— Я не умею сочинять анекдоты. Но поскольку про меня долго и упорно ходили такие слухи и спорить с этим совершенно невозможно, то месяца два назад я решился. Кроме того, очень любопытно, какой анекдот совершит круг, вернувшись ко мне. Миграция шутки — вещь потрясающая! Впрочем, анекдот довольно примитивный. Землянка, война, солдат готовится к бою. Говорит товарищу: «Если не вернусь, прошу считать меня коммунистом!» — «А если вернешься?..»

— Но уж розыгрыши-то ваши или тоже апокрифы?

— Я жил в веселой среде — у нас было принято разыгрывать друзей. Как рассказывают, однажды Катаев напоил Олешу и отправил его на самолете в Киев, причем босиком. А когда Олеша очнулся, он подумал, что розыгрыш заключается в том, что он в Москве, но все вывески специально заменили на украинские. Вот что значит писательский угол зрения... Я тоже обожаю розыгрыши. Плучек назвал это «Театр для себя».

— Рассказывают, что в разгар сталинских репрессий вы приехали на дачу к артисту Владимиру Хенкину и при помощи сургуча и обычного медного пятака опечатали входную дверь. Перепуганный хозяин после этого чуть не помер. Какой уж тут юмор?

— А вот это уже не моя работа. Мне это приписывают... А вообще я розыгрыши люблю, особенно если это чистая работа и точная, продуманная драматургия. Вот обедаем с друзьями в кабинете ресторана «Арагви». Выпили, начались вольные разговоры. Я сделал круглые глаза и прошептал, что здесь небось полно микрофонов. После этого тихо договорился с официантом, что ровно через пять минут он принесет пиво, а еще через пять минут спички. За несколько секунд до назначенного срока я сказал: «Поскольку нас все равно слушают, пусть по крайней мере не зря. Пожалуйста, принесите пиво». Тут же открылась дверь, и официант принес пиво. Ровно через пять минут я попросил спички. И, естественно, вошел официант. Все жутко перепугались и стали говорить только о погоде. Розыгрыш элементарный, но драматургия... Или еще чуть более сложный, но, по-моему, довольно забавный. Я был очень дружен с писателем Виталием Губаревым. Так вот, у него была дурацкая манера — он мог позвонить и сказать: «Старик, сегодня вечером я приду к тебе ужинать». Ответа, как правило, он не слушал, моментально клал трубку. В очередной раз я позвонил Дыховичному, Слободскому и Юрию Тимошенко и тоже позвал их в гости. А днем ненадолго съездил на радио. Вечером Дыховичный позвонил от меня домой, набрав пять цифр из шести, и сказал: «Я у Никиты, не беспокойся... Что ты говоришь?.. Не может быть... Братцы, включайте скорей приемник, передают Сталинские премии!» Я включил свой приемник, с немалым трудом настроил. Наконец поймали голос Левитана: «По драматургии. Первая премия 100 тысяч рублей — Софронову Анатолию Владимировичу за пьесу «Московский характер». Премия второй степени в размере 50 тысяч рублей — Сурову Анатолию Алексеевичу за пьесу «Зеленая улица». Премия третьей степени 25 тысяч рублей — Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов». Все закричали, что дальше слушать неинтересно, стали требовать шампанское. Губарев слетал в соседний гастроном за выпивкой, фруктами. Мы отлично отпраздновали вручение ему Сталинской премии. Но я точно знал его психологию. Ровно в двенадцать часов ночи говорит: «Я еще раз хочу послушать, за друзей порадоваться». Мы включаем приемник и слушаем весь список — по музыке, по режиссуре... (Списки тогда длинные были.) Наконец дошли до драматургии. «Премия второй степени в размере 50 тысяч рублей Сурову Анатолию Алексеевичу за пьесу «Зеленая улица». Премия третьей степени... Губареву Виталию Георгиевичу — ни хрена...»

Губарев побледнел, пошатнулся... Я думаю: мать честная, зачем я все это придумал. Вдруг человека инфаркт хватит. Что за шутки дурацкие мне в голову приходят... Да и Левитану теперь достанется за то, что он мне весь этот текст по моей просьбе заранее на пленку наговорил. Я ведь магнитофон включал, а не приемник. Хотя мы даже настройку на определенную волну записали... Но, ничего, обошлось... Губарев прошипел: «Я знал, что это розыгрыш!» И ушел... И я про это забыл... Но он сам попытался меня разыграть, к сожалению, довольно бездарно. Несмешной розыгрыш — грех. За это я решил его наказать. Погодин в то время был главным редактором журнала «Театр», а Губарев — ответственным секретарем. Я поехал на Колхозную площадь и, как сейчас помню, купил за двадцать семь рублей сиденье для унитаза. Достал где-то губаревскую фотографию на паспорт, увеличил и вставил в сиденье, как в рамку. С шофером отправил в редакцию. Погодин, человек с юмором, понял, в чем дело, и повесил эту хреновину рядом с портретом Чехова у себя в кабинете. Началось заседание редколлегии. Губарев немного опоздал. Легкой походкой, напевая себе под нос какую-то веселую песенку, он вошел в кабинет... Погодин потом мне рассказывал, что такого остекленевшего взгляда, как у Губарева, он не видел никогда в жизни.

— Вам не жалко людей, которых вы разыгрываете?

— Нет, это друзья. И никто никогда на меня не обиделся.

— Уж так-таки и никто? И так-таки только друзей?

— Ну, правда, бывали шуточки довольно злые. Однажды в Тунисе — пустыня, едем в автобусе. За нами бегут нищие мальчишки — просят милостыню. Я знал, что если им кинуть монетку, то тут же набегут еще сто — двести таких же пацанов и пока не обдерут тебя как липку, не отстанут. Меня такая перспектива совершенно не радовала. И я им объяснил: если хотите, чтобы русские туристы подавали вам милостыню, то вы должны им говорить следующую фразу: «N — говно!» (N — ныне покойный писатель). Потом мне рассказывали наши, что, приехав в Тунис, никак не могли понять: почему за автобусами бегут толпы пацанов и кричат: «N...» — ну и дальше по тексту. Может, они до сих пор так кричат?

Впрочем, о мертвых — либо хорошо, либо ничего. Тем более что уже стольких их, о ком — хорошо... Слишком много.

— О каких упущенных возможностях в этой жизни вы жалеете?

— Есть кое-что... Однажды летел я из Австралии в Париж двадцать четыре часа. Рядом со мной сидел человек, явно очень интеллигентный, образованный, полиглот. То он читал «Таймс», то «Фигаро»... Я пытался говорить с ним на французском, который знаю как родной. На английском, который знаю неважно. Он только бурчал мне что-то в ответ. Мне надоело его пренебрежительное отношение и нежелание разговаривать. Я пошел в хвост самолета и там заснул. Прилетели в Париж. Меня встретил приятель-журналист и сказал: «С тобой ваш премьер летел». Я оглянулся, стал искать глазами Косыгина. Оказалось, что я пытался заговорить с Александром Федоровичем Керенским! Эх, кабы знать, что он владеет русским! Уж я бы вытянул из него парочку историй о нашей заварушке!

— Банальный вопрос: ваши творческие планы?

— Для официальных учреждений я работать, возможно, больше не буду. Песни исполнять почти некому. Что касается симфонической музыки, то при почти полном отсутствии квалифицированных оркестров — заниматься ей тоже нелепо. Спасибо, хоть за границей играют. В кинематографе такое творится, что страшно становится! Каждый месяц отсылаю сценарии обратно — не хочу позориться вместе с остальными членами съемочных групп. А уж про налоги вообще не говорю... Очевидно, теперь я буду работать только для себя и своих друзей.





Ким, он же «Банзай», сразу после задержания в Киргизии.

Георгий РОЖНОВ

ВСЕСОЮЗНЫЙ РОЗЫСК

Теперь можно признаться: публикуя в «Огоньке» свою статью «Белые флаги» (лето, номер тридцать третий), я уже тогда был уверен, что и к ее теме, и к ее персонажам мне непременно придется вернуться. Если помните, многие вопросы остались у меня без ответа, и среди них главный — поймают ли шестерых опасных преступников, сбежавших в центре Москвы из автозака с тремя пистолетами Макарова? Их фотографии были не только в журнале, на сотнях, если не тысячах листовок, расклеенных у зданий милиции, в аэропортах, вокзалах,— Ким, Денисов, Донец, Георгиев, Смердов, Павлюченков.

С окаянного того дня, 12 июля, как в воду канули. Поймают? Когда же, когда? Так меня спрашивали читатели, с каждым днем все чаще, все тревожнее. Их можно понять — кто знал, кому уготована пуля из тех 32 патронов, которые у солдат конвоя прихватили бежавшие?

Общая наша тревога могла быть меньше, если бы мы уже тогда знали, что двое преступников пойманы уже 28 июля, на семнадцатый день после побега. Но сообщение об этом ГУВД Москвы задержало до середины августа, да и слишком оно было скупым, безликим. Почему выжидали, кто именно схвачен, в Москве ли, было ли взято у них оружие — молчок. Что ж, все это можно понять — идет розыск, не до откровений.

Через несколько дней в эфире снова знакомый генерал-майор милиции Бугаев: три тысячи рублей награды тому, кто хоть наведет на след беглецов. Посулы для нас неслыханные, непривычный к ним читатель ахает и спрашивает меня уже совсем сердито: что, совсем оплошала наша милиция, все так и сидит под белыми флагами, а неотловленные четверо бандитов поди кайф ловят да новые злодейства измышляют?

И правда, прошел уже август, за ним сентябрь, а с Петровки, 38, хотя бы словечко надежды: весь, мол, личный состав на ноги подняли, ночи не спим, всю страну исколесили, уже по верному следу идем!

Что за мука была мне в те дни отмалчиваться вместе с милицейскими генералами — не время еще было ни защищаться от этих укоров, ни оправдываться, ни хотя бы уголок приоткрывать над работой, имя которой — розыск.

И только тогда, когда сыщики действительно отбегались, отъездились, отлетались, отмучались от промашек, проколов, просчетов, вовсе не киношных бессонницы, голодухи, занемевших от тяжести пистолета рук и торса, стянутого бронежилетом, когда откричались в рации и телефоны, когда рядовые, сержанты, старлеи и полковники, пришедшие из розыска, получили от начальства щедрые двое вольных суток, тогда только в последний день сентября снова появился на телеэкранах неулыбчивый генерал Бугаев и рассказал нам обо всем этом так:

— Как известно, в конце июля в городе Москве были задержаны двое из бежавших преступников — Георгиев и Денисов. 25 сентября в 14 часов 25 минут в девяти километрах от города Фрунзе в одном из поселков был арестован Донец. 26 сентября в 22 часа 15 минут в частном доме неподалеку от Фрунзе задержан Смердов. 27 числа в 6 часов 45 минут в 150 километрах от Фрунзе задержан Ким. Розыск последнего из бежавших — Павлюченкова — продолжается.

Заместитель начальника ГУВД Мосгорисполкома генерал-майор милиции Бугаев Алексей Прохорович все эти дни, недели, месяцы возглавлял объединенный штаб розыска. Ему подчинялись оперативные работники МВД и КГБ СССР, Главного управления командующего внутренними войсками МВД СССР. Телефоны штаба были известны многим, их не раз печатали в га-

зетах, объявляли по радио и телевидению. Раз я позвонил по всем трем телефонам поздней ночью — ответили немедленно. Потом узнал, что звонков была уйма, но все пустые, зряшные. Значить это могло только одно — ушли на дно, оглядываются, осторожничают. И то благо, авось не затрещат их пистолеты, не заработают их ножи и кулачищи.

Все время, пока шел розыск, гадал, прикидывал — кто первым выйдет на след, кому повезет? Вспоминал знакомых еще по прошлым годам сыщиков МУРа, оперов из РУВД и отделений — им? Или безвестному пока гаишнику? Или участковому? Или милиционеру из полка патрульно-постовой службы?

Не отгадал не только фамилии — ведомства. Потому что оперативно-розыскную группу при штабе генерала Бугаева возглавлял офицер не милиции, не госбезопасности, а внутренних войск. Представляю его по всей уставной форме: начальник службы розыска Главного управления командующего внутренними войсками МВД СССР подполковник Удинцев Анатолий Николаевич. Славно над ним поработала матушка природа — в свои сорок пять годков выглядит едва не тридцатилетним, ростом и статью не обижен, не просто обаятелен — красив. Проще было бы дать фотографию подполковника, пусть бы она висела у девчонок на стенах общежитий, но воспротивилась не жена его, Татьяна Константиновна,— начальство: «Он лично двести бандитов взял, понимаете? И еще возьмет. Побережем?»

Сам Удинцев бережет себя согласно инструкциям — во время операций носит бронежилет, когда легкий, когда тяжелый, пистолет пристрелян, прилажен на поясе так, что в никакой рукопашке его не выбить, ухарство и бесшабашность в задержаниях искренне презирает. И не бережет — как начальник службы, числом немалой, мог бы сам в схватки не лезть, но лезет непременно. Стоял под ножами, пистолетами, автоматами — проносило, везло. В болоте тонул — вылез, в тайге замерзал — выполз. Секрет здесь не только в силище, не только в лишь ему знакомых приемах, не в везении даже. Подполковник не только сыщик от Бога, умница он, светлая голова. Назовите мне хоть одного военного розыскника, у которого лично, а не в соавторстве и не в литзаписи есть изданные рассказы, очерки, повесть,— нет таких, одного только Удинцева и знаю теперь. И не корите меня за длинноты этой характеристики, за томления читателя, ждущего детектива,— не узнаем мы хоть чуток этого подполковника, так ведь и не поймем потом, как удалось ему пристегнуть наручники Денисову, Георгиеву, Донцу, Киму.

Но до этого пристегивания еще ох как далеко было в те летние дни, когда шестерка беглецов как в воду канула, а подполковник Удинцев, чертыхаясь, читал в «Огоньке» «Белые флаги» — вот уж позорища хлебнули от своих же солдат с сержантами, отмыться бы поскорее, сами упустили — сами и найдем.

Дальнейший рассказ я смело мог бы доверить Удинцеву, слог и язык у него блестящи, но боюсь, что сам он при этом уйдет в сторону и главным действующим лицом уже никак не будет. Поэтому попрошу Анатолия Николаевича быть нашим консультантом, каждый из 78 дней розыска памятен ему крепко.

Первое, что мне хотелось узнать: надежно ли захлопнулись ворота Москвы перед шестеркой бежавших? Услышал то, что и ожидал,— редкие и чаще всего скверно обученные постовые милиционеры, еще более редкие и вконец замороченные участковые помощи розыску не оказали, и четверо — Ким, Донец, Смердов и Павлюченков — сквозь редкие милицейские силки прошмыгнули незамеченными. Да и глупо было надеяться, что столь опытные преступники будут выбираться из города поездом или, что уж вовсе очевидно, самолетом. Эти варианты Удинцев просчитал сразу и, как видим, безошибочно. Как просчитывал — рассказать можно. Первым делом он с каждым из них познакомился заочно, да так глубоко, что, встреться лицом к лицу, не только бы не обознался, но и смог бы повести при случае разговор и о семьях, и о пристрастиях, и даже о хворях каждого. Все эти подробности Удинцев выудил из уголовных и судебных дел, которые прочел досконально.

Итак, кто же они, эти шестеро, кто собрал, сбил их в банду — удачливую, грозную, злобную? Однозначно: Ким Георгий Васильевич, кличка — «Банзай». Недавнее прошлое — прапорщик Советской Армии, служил комендантом гауптвахты. «Представляете, что за режим был на этой гауптвахте?» — комментирует Удинцев.— И каким славным комендантом он был для командиров, каким дьяволом для проштрафившихся солдат? Аттестовали его — хоть медаль выдавай». А что — не курит, на игле не сидит, почти трезвенник. Двое детей, жена. «Вот уж бедолага,— снова вмешивается Удинцев,— ни-че-го не знала! Славная, милая женщина». А вот уже и Кима почти жалеет — тот и неглупый, и волевой, и не труслив вовсе. Однажды вышла у него разборка с люберецкими уголовниками — один восьмерых разбросал. И он же, Ким, жестокий, жадный, ненавидящий и врагов, и своих же сообщников. Брать его надо в наручниках, под пистолетным дулом держать, а тогда уже и в глаза посмотреть — что, «Банзай», кто теперь с белым флагом?

С кем же теперь Ким в бегах? Скорее всего с земляками из Киргизии — Смердовым и Донцом. Тогда в Москве — Георгиев и Денисов? Все пятеро не раз судимы, наркоманы со стажем, над четверыми зависла высшая мера, терять нечего. Где же они, где? По две, по три смены работали на ЭВМ операторы, просчитывали варианты, рожденные фантазией Удинцева. В Волгограде? В Астрахани? В Гурьеве? Во Фрунзе? Опергруппы, на выезд!

Каждый день Удинцев умолял дежурных по штабу: ребята, внимательнее смотрите все сводки всех преступлений по стране, примеряйте их к Киму — похоже? Нет?

15 июля — не забыть теперь Удинцеву этого дня! — глянул он сводку и замер: они! Между Рязанью и Пензой двое с пистолетом остановили автомобиль «Жигули», вышвырнули водителя и умчались. Чудом человек остался жив, глянул на фотографии — Ким и Донец? Прошляпили, упустили...

Через десять дней, 25 июля, подошел к Удинцеву Белов Алексей Яковлевич, замначальника 4-го отдела МУРа, майор милиции. Улыбается: а не пора ли нам Денисова повязать? Вроде бы его люди в один дом зачастили, глянем?

На этот дом, где мог быть Денисов, глядели они ровно трое суток — подполковник Удинцев и майор милиции Белов. Я спросил: что, помоложе ребят не нашлось? Удинцев насупился: я сам должен был брать. Первого — сам. Потом рассмеялся:

— Вы кого-нибудь хоть час на одном месте ждали? А мы с Беловым трое суток то в одном подъезде, то в другом. Только бы не зевнуть, только бы засечь наверняка. На второй день отлегло немного от сердца — точно, Денисов Юра вышел, по сторонам оглянулся и обратно. Я вызвал ОМОН — будем брать. К ночи прислали пятерых — ребятишки молодые, крепкие. У них задача одна: шагнуть на первый выстрел, мы — сзади. Пресса их как называет — каратели, громилы, сатрапы. Политики напортачат, а им отдуваться, причем при всем честном народе. А вот другая их служба — шагать в легоньких своих жилетах под очереди или выстрелы, эта служба чаще по ночам, ее и не видит никто. Сколько я на захват ходил — всегда с ОМОНом, всегда их помню добром, не подвели никогда. Так и здесь. Квартира, где отлеживался Денисов,— на седьмом этаже пятнадцатиэтажки. Решаем: двое бойцов пробираются на балкон, оттуда в комнаты, а мы уже с тремя остальными в эту же секунду высаживаем входную дверь. В такой ситуации всегда действую жестко, дерзко, иначе — быть крови, беде. И еще: никогда не лезь, если не знаешь твердо, что в квартире нет женщин или детей,— азбука.

Четыре часа утра, готовность полная, голос по рации: «Мы на балконе». Пошли! Что же это за дверь окаянная, трое на нее навалились, молотком бьют, не поддается, а там ребята без прикрытия, живые мишени, еще рывок, еще раз...

— Денисов, оружие где? Георгиев где? Ким?

Как ведут себя киношные сыщики сразу после того, как после бессонных погонь повяжут бандита? Первый вариант — усталые, но довольные, идут они по улицам просыпающегося города навстречу спешащим на работу труженикам. Второй — умаявшись, мгновенно засыпают, приклонив голову либо на рабочий стол, либо на плечо любимой. Удинцев сначала Денисова привез на служебном «жигуле» на Петровку, потом расспросил и допросил, потом дождался, пока того заберет конвой, и сел писать. Рапорты, докладные, протоколы, акты, ориентировки. Доложил одному генералу, другому. А потом, когда уже шел день, приехал домой и лег отсыпаться. Благо, что сын Алеша ушел в институт, дочка Наташа — в школу, а Татьяна Константиновна — на работу. Я спросил Анатолия Николаевича, снится ли ему что-нибудь после таких передряг. «А как же! — ответил он.— Розыск!»

Удинцев не раз предлагал мне такой нехитрый образ своих сыщицких фантазий — когда включаешь телевизор, особенно старый, ламповый, экран его долго остается темным, и лишь постепенно размытые контуры превращаются в яркую картину. Когда вышли на Денисова — экран этот светился, когда допросили и отправили в камеру — погас. Ничего, никого не дал им Денисов, и Удинцев верил — не знает. После побега тот отсиделся на каком-то чердаке все в том же центре города, на другой день вечером вышел, переехал в другой район, тоже отсиделся, нашел редкую теперь пивную, в ней пьянчужку — что за проблемы при деньгах-то? И снова Удинцев помянул недобрым словом ослепших контролеров Бутырки: уму ведь непостижимо, что преступники сидят у них при деньгах, да еще немалых.

А потом придуманный Удинцевым экран стал снова подрагивать, светлеть, и появились на нем картинки одна занятнее другой. Сначала район Москвы, где мог быть Георгиев — две судимости, наркоман, рост 198 сантиметров, весь в татуировках, молчальник. Район прочесали, и на своем экране увидел Удинцев дом и в нем квартиру на седьмом этаже, но без балкона — как брать-то?

Взяли. Опять на плечах омоновцев, опять были темень, грохот, крики и та же мысль — только бы не выстрел, только бы не кровь. Когда уложили Георгиева на пол, лицом вниз, и сели на диван перекурить, Белов спросил Удинцева: «Толя, ты хоть раз в жизни в такой квартире бывал?»

Анатолий Николаевич — прозаик и стихотворец, вспоминая ту ночь, не может найти слов для живописания потрясшей Белова квартиры. «Нечто!» — картинно разводит он руками и прикрывает глаза.

И сразу жестко, с нарочитой грубоватостью:

— Разговоры о миллионных воровских общаках, об автомобилях иномарок, своих квартирах, радиостанциях и рациях не миф, не блеф, не слухи. Это — правда. Чтобы надежно спрятать банду «Банзая», уголовные авторитеты выделили десятки тысяч. Их собирались снабжать всем — деньгами, женщинами, кормежкой и питьем, наркотиками, отогреть с полгода, а потом использовать как ликвидаторов. Понятно, о чем речь? На той квартире, где брали Георгиева, я оставил засаду — клюнули! Еще бы час — и спрятали бы его надежнее.

Уже двое беглых были на счету Удинцева — где еще четверо? Где Ким? В кассах Аэрофлота его офицеров знали уже в лицо — не счесть городов, что они объездили. Потом, когда все было кончено, подумалось: ведь не в шапках-невидимках ходили и Ким, и его сообщники по городам и поселкам, в каждом из которых милиция имела и их фотографии, и подробные ориентировки. Почему же почти за два месяца блужданий никто из бежавших не наткнулся ни на одного милиционера?

Удинцева моя наивность умиляет:

— С какой стати милиция, скажем, Воронежа или Волгограда будет ловить побегушника из Москвы? У нее на своих бандитов сил не хватает. Вот если бы тот же Ким или Смердов во время своих странствий воровали бы, грабили, убивали, тогда бы для местной милиции они были бы **своими** преступниками, и занялись бы ими серьезнее. Да и кому ловить, кто владеет сейчас личным сыском — единицы. И пусть ребята не обижаются, но если в ориентировке сказано, что искать надо вооруженных, опасных преступников,— мало найдешь охотников. Подставлять свою голову под пули за 200—250 рублей, да еще не быть уверенным, что в случае ранения и инвалидности о тебе позаботятся? А, упаси Бог, убьют, то семью обеспечат? Да будь наш министр хоть трижды милосерден и добр — кто, какой закон позволит ему помочь пострадавшим своим работникам?

Я кивал, поддакивал Удинцеву, а на языке все вертелся вопрос: а он-то что, тысячи получает? Заговорен от пуль и ножей? И не только он — вся его служба розыска, что, все сплошь романтики? А он и так понял, ответил, глядя мне в глаза:

— Мы войска. Мы военный розыск.

Минуту спустя:

— Пишите проще — фанатики. Психи.

Я уже знал: когда Удинцев издал одну за другой две книги, его пригласили в военный журнал, где и папаху сулили, и, помимо оклада, гонорары, да и служба с девяти до шести, а он возьми и откажись. Не фанатик? Не романтик?

10 сентября ему позвонили из Фрунзе его люди — по всему выходит, что Смердов здесь. 12-го Удинцев вылетел. С ним были те, кто уже не раз бывал в таких передрягах,— Куртов Михаил Николаевич, старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела ГУВД Москвы, и Высоцкий Валерий Львович, оперуполномоченный 4-го отдела МУРа. И еще трое офицеров из его службы розыска — знакомить с ними он пока никого не хочет.

Во Фрунзе Удинцев летел с тяжелым сердцем, с невеселыми думами. Кто ему там поможет, кто даст машины, рации, людей, когда и МВД, и КГБ республики по уши заняты событиями в Оше, до гостей ли им? Попробуй без транспорта и провожатого сунуться в поселки, на плантации, особенно опийного мака? Все будет — суматоха, беготня, недосып, стрельба — результата не будет. Кима не будет, не достанут они его одни.

Ошибся Удинцев, зряшными оказались его тревоги. Сейчас он едва не стихами говорит и о министре внутренних дел Киргизии генерал-майоре Гончарове, и о председателе КГБ республики генерал-майоре Асанкулове — первый дал новейшую «Волгу» с рацией, второй — толковых оперов — подполковников ГБ Нефедова и Сулейманова. Но больше всего комплиментов расточает Удинцев Вячеславу Геннадьевичу Соковых. Он водитель той самой «Волги», старшина милиции.

Но пока ни он, ни его машина Удинце-

ву не понадобились. Первые дни во Фрунзе были для него необычными, а для его помощников и вовсе странными — Анатолий Николаевич изо дня в день в одиночку ходил в гости, сидел там часами и, как сам признавался, пил с хозяевами чай и говорил, говорил. Это был дом одного из беглецов — Смердова Андрея, кличка «Дух», злодейств на его совести меньше других, а потому и наказание может быть мягче. Семья — мать, отец, жена, брат,— по мнению Удинцева, люди не просто хорошие — славные. Просьба у гостя была одна — пусть Андрей придет с повинной. Он где-то здесь, рядом, паратройка дней, и мы возьмем его, а это не только добавка срока, это могут быть пули, стрельба, смерть, а парню еще до тридцати далеко, он вовсе еще не пропащий, давайте поможем ему, давайте спасем — так говорил им он, начальник службы розыска внутренних войск, подполковник.

— Вы его подстрелите,— отвечали.

— Сделаем так — пусть Андрей придет в кафе, в ресторан, в любое людное место, там-то нас чего бояться? Или, хотите, возьму на свою ответственность — пусть приходит в дом, побудет с вами сутки, потом сдастся. Решайте же, думайте!

На третий день Удинцев пришел к ним снова, молча сел за стол, положил бумагу и стал писать, лист за листом, под копирку. Второй экземпляр положил себе в папку, первый отдал матери Смердова — пусть передаст сыну. «Что это?» — удивилась она. «Письмо,— ответил он.— Личное. От мужчины к мужчине».

Старлей Высоцкий из МУРа прочитал текст и шмыгнул носом:

— Товарищ подполковник, если бы мне написали такое письмо — я бы сдался.

— К черту,— рассердился Удинцев.— Я им не проповедник. Я не Армия спасения. Я розыскник. Сводки где? Сообщения офицеров? Донец где? Ким где?

25 сентября звонок: в пригороде, возле озера, появился парень ростом под два метра, вроде бы рыбачить приехал, а сам с дороги глаз не сводит. Донец! Кличка «Зек», две судимости, сильный, жестокий.

Брать Донца поехали на двух машинах. Первым шел старенький «Москвич», за рулем — старший оперуполномоченный УВД Фрунзе капитан милиции Додис, рядом — капитан Куртов из Москвы. В километре сзади поехал Удинцев с тремя своими ребятами. Первая машина подъехала к озеру в ту как раз минуту, когда Донец уже забрасывал свои вещи в кабину грузовика. Капитан Додис водителя узнал мгновенно — торговец наркотиками, но пока не попадался.

— Друг! — истошно закричал Додис, грабастая шофера в своих объятиях.

И Донец, встревожившийся было, успокоился, улыбнулся даже, а тут и Удинцев со своими молодцами подоспел.

Третий!

И снова черный экран перед глазами, снова просчет вариантов, километры за километрами — где Смердов? Где Ким?

26 сентября вечером Удинцеву позвонил его розыскник Кузьмин:

— Товарищ подполковник, мы взяли Смердова. Там, где вы и предполагали.

— Где Ким?

— Ушел...

Удинцев к телефону:

— Вячеслав Геннадьевич, золотко, заводи «Волгу», скорее, золотко!

Жилет застегнут, пистолет за пояс, обоймы в карманы. Не кого-нибудь — Кима, «Банзая», брать будем!

Прыгнул в машину Кузьмин, стал докладывать. Вечером, когда смеркалось, к озеру подъехало такси. Из него вышел Смердов, подошел к Кузьмину, ничего подозрительного не заметил, стал удаляться в камыши. Идти к машине — укатит, пропустить Смердова — уйдет. Кузьмин прыгнул, сделал подсечку, свалил Смердова и тут же услышал, как взревел мотор такси. В нем Ким и ушел. Куда? Думай, подполковник, думай. От Фрунзе — сотня километров до Казахстана. Туда он подался? Туда, больше некуда. На той же машине? Вряд ли, не такой уж он простак. Почуяв погоню, наверняка отсидится в надежном месте. Или пойдет на рывок?

Что же это за ночь была для Удинцева, что за гонка! Кажется, все он предусмотрел, везде подстраховался, всюду теперь наготове надежные люди — из МВД, КГБ, его розыскники. Автоматы выдавать? И гранаты в придачу — Кима ведь ищем, «Банзая».

Что теперь? Найти такси. Нашли. И водителя с постели подняли. Новость — Ким был с сообщником. Кто? И на этот вопрос получили ответ — живет в турецком поселке, отсюда километров сто с гаком. «Геннадьевич, золотко, скорее!»

Сзади группа захвата. Молодые парни в тельняшках на бронежилетах, краповые береты, пистолеты на боку, автоматы на шее — спецназ внутренних войск!

На этот раз с Удинцевым поехал начальник уголовного розыска Панфиловского РОВД капитан милиции Кульчаро Мендулатов.

— Расскажи что-нибудь хорошее, начальник,— попросил Удинцев, пока мчались.

— Я для своей семьи комнату снял. Пятьдесят рублей плачу.

— Я же тебя о хорошем спросил.

— Комнату снял — разве плохо?

Удинцев замолчал, насупился. Мендулатов каждый день рискует головой — и не имеет своего угла, капитан Додис ловит наркоманов, отбирает у них для казны десятки тысяч — и который год не может получить звезду майора, его розыскник Кузьмин Толя на своей машине гоняется по всей Киргизии за беглецами, при троих детях и неработающей жене спускает несчастные свои рубли на бензин и не может получить их обратно — как им помочь, чем?

Вроде бы тот дом они окружили, вроде бы похож хозяин на сообщника Кима, но не то, промашка. Снова перебежки, снова автоматы на изготовку. Тот дом, тот хозяин. А Ким? Пустой номер, нет его. А коровник — там что?

Ярче, светлее экран, никогда еще не было на нем такой красивой картинки.

— Больно, начальник, за что?

— Здравствуй, Ким. Здравствуй, «Банзай».

Удинцев пробыл в Москве недолго: объявился след Павлюченкова — и подполковник полетел в «квадрат». Если ему снова улыбнется удача, семерку преступников снова можно будет усадить на скамью подсудимых в зале Мосгорсуда, которую они покинули еще в июле. Содержаться они будут все в том же Бутырском СИЗО, а возить их в суд и обратно придется караулу все той же конвойной части. И к тем, и к другим у меня одна просьба: постараться на этот раз нести службу так, чтобы подполковнику Удинцеву Анатолию Николаевичу не пришлось снова гоняться за ними по всей стране. Хотя бы из чувства офицерской солидарности — коллега все-таки, одну с вами форму носит.



На розыск — недели, на захват — секунды.



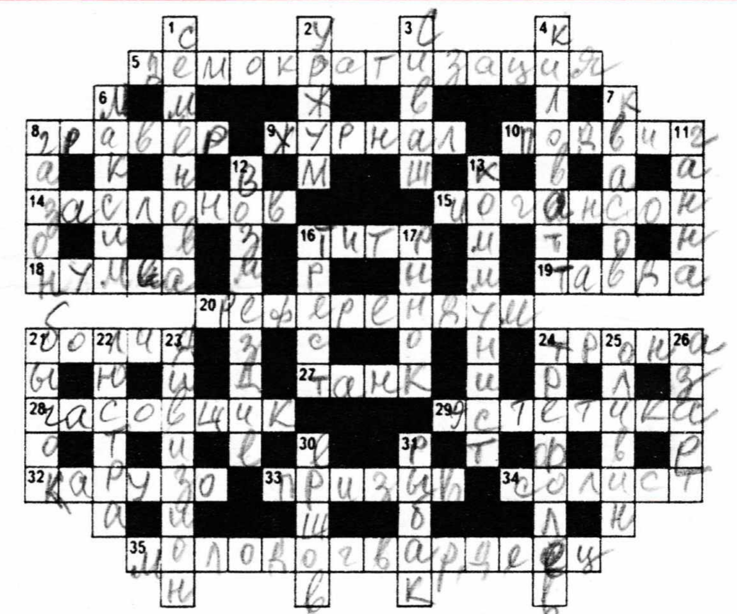
Дорогие читатели!

Не забудьте подписаться на «Библиотеку «Огонек».

Эти книжки карманного формата, которые удобно читать даже в переполненном городском транспорте, вам будут доставлять каждую неделю — так же, как наш журнал.

В будущем году в огоньковской библиотеке вы сможете прочитать прозу, стихи, статьи популярных современных писателей: прозаиков, поэтов и публицистов, а также классиков русской литературы XX века. Вот только некоторые имена: М. Булгаков, О. Мандельштам, А. Платонов, А. Белый, К. Бальмонт, Б. Зайцев, Н. Заболоцкий, И. Эренбург, Д. Самойлов, Н. Ильина, С. Липкин, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Е. Рейн, Ю. Карякин, В. Селюнин, Саша Соколов, Вик. Ерофеев, И. Иртеньев.

Напоминаем, стоимость подписки — всего 4 руб. 68 коп. Индекс издания 70668.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Организация народовластия. 8. Художник, мастер, воспроизводящий рисунок, надпись на твердом материале. 9. Периодическое издание. 10. Героический, самоотверженный поступок. 14. Один из руководителей партизанского движения в Белоруссии, Герой Советского Союза. 15. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда. 16. Надпись на кадре в фильме. 18. Порт на острове Новая Каледония. 19. Приток Тобола. 20. Всенародный опрос, голосование. 21. Яркий метеор. 24. Минерал, сырье для получения соды. 27. Народный поэт Белоруссии, Герой Социалистического Труда. 28. Мастер по изготовлению и ремонту приборов для измерения времени. 29. Философское учение об искусстве. 32. Популярный итальянский тенор. 33. Стихотворение В. В. Маяковского. 34. Исполнитель музыкального произведения или отдельной партии. 35. Участник подпольной комсомольской организации в Краснодоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балерина, народная артистка СССР. 2. Город в Кировской области. 3. Система заливов у берегов Азовского моря, в Крыму. 4. Единица мощности электрического тока. 6. Герой кинотрилогии, роль которого исполнил народный артист СССР Б. П. Чирков. 7. Русский архитектор-градостроитель XVIII века. 8. Засеянный травой участок в парке, на бульваре. 11. Действующее лицо в опере Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь». 12. Поэма А. А. Блока. 13. Фильм кинорежиссера, Героя Социалистического Труда Ю. Я. Райзмана. 16. Объединение строительных предприятий. 17. Сфера товарного обращения. 21. Мелкая морская рыба. 22. Подвесной осветительный прибор. 23. Подразделение артиллерийского полка. 24. Русский поэт, автор «Песни о камаринском мужике». 25. Драгоценный камень. 26. Задор, увлечение. 30. Певец, народный артист СССР. 31. Человек, занимающийся одним из видов морского промысла.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шефство. 6. «Чудаки». 7. Борьба. 8. Магнетизм. 11. Карт. 13. Куга. 14. Брошюра. 16. Воронин. 17. Ирбисту. 18. Воскресенский. 21. Сборник. 23. Абрикос. 24. Торонто. 25. Грин. 26. Трос. 27. Диспансер. 30. Негина. 31. Дупель. 32. Розетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Булгаков. 2. Шина. 3. Совершенствование. 4. «Обоз». 5. Облигато. 9. Горн. 10. Иори. 12. Трохотрон. 13. Клиницист. 14. Бисквит. 15. Аресибо. 19. Абориген. 20. «Колокола». 22. Кокс. 23. Атос. 28. Икар. 29. Езда.



40 коп. Индекс 70663